

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИВЕТ

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ



Валерий Яковлевич Брюсов (1873—1924) — одна из центральных фигур русской поэзии начала XX века. Он прошел большой и сложный путь в литературе, начав его как декадент, эстет, индивидуалист, а кончив как видный деятель культуры молодого Советского государства и член Коммунистической партии. Смелый искатель и новатор, обогативший и тематику, и стилистику, и метрику современной поэзии, он всю жизнь занимался поэтическими переводами.

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,

В. ОГНЕВА, Б. СЛУЦКОГО И

Е. СОЛОНОВИЧА

В Ы П У С К 21

МОСКВА

С К О Г О

П Е Р Е В О Д А

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИВЕТ

С Т И Х И

З А Р У Б Е Ж Н Ы Х П О Э Т О В

В П Е Р Е В О Д Е

**Валерия
Брюсова**

ПРОГРЕСС 1977

СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДИСЛОВИЕ

М. Л. ГАСПАРОВА

РЕДАКТОР ВЫПУСКА

Б. В. ШУПЛЕЦОВ

Крупный поэт, теоретик и историк мировой литературы, Валерий Брюсов оставил заметный след в истории русского поэтического перевода. Наряду с древними поэтами переводил своих современников, главным образом французских авторов.

© Перевод на русский язык произведений, отмеченных в содержании знаком *, составление и предисловие «Прогресс», 1977

70404—445
Б 131—76
006(01)—77

ПУТЬ К ПЕРЕПУТЬЮ

(БРЮСОВ-ПЕРЕВОДЧИК)

В истории литературы есть повторяющаяся роль: «побежденный учитель победителей-учеников». Он стоит у начала литературной эпохи, он проходит через долгий период уединенных экспериментов, переживает краткую пору громкой славы, а потом наступает не кончающаяся полоса полууважительного пренебрежения: ученики оттесняют и затемняют учителя, и не всегда найдется между ними Пушкин, чтобы напомнить: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?» Пушкин этими словами заступался перед Рылевым за Жуковского. Но таков был не только Жуковский. У начала русского XVIII века таким непризнанным учителем стоит Третьяковский, а у начала XX века — Брюсов. Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака, кому кто нравится. Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. «Вы сами, было время, поутру линейкой нас не умирать учили», — писал от имени целого поколения Пастернак в своей юбилейной инвективе.

«...К тому же переводной слог его останется всегда образцовым», — продолжал Пушкин свою защиту Жуковского. Для поэтов эпохи больших культурно-поэтических переломов — и для Третьяковского, и для Жуковского, и для Брюсова — переводы имели совсем особое значение. Русская литература развивалась

стремительно, приходилось «и жить торопиться, и чувствовать спешить». В этом процессе переводы играли очень заметную роль. Это было рабочее подспорье, не более того: переводчиков в переводимом привлекало не столько величие авторов и слава произведений, сколько стройность мироощущения и отчетливость художественных средств. Именно поэтому Жуковский переводил больше из Уланда, чем из Шиллера, а Брюсов больше из Приска де Ландель, чем из Рембо; именно поэтому у Жуковского трудно провести грань между переводом и подражанием, а у Брюсова порой кажется, что некоторые «переводы» названы так лишь для отвода глаз.

Как для Жуковского последним словом европейской культуры был романтизм, так для Брюсова — символизм. Впрочем, не только символизм. Как русские восьмидесятники не заметили своих французских сверстников — символистов, так русские шестидесятники не заметили в свое время парнасцев; теперь брюсовскому поколению, спешно наверстывая, пришлось открывать русскому читателю сразу и тех и других. Не беда, что во Франции «Парнас» и символизм были течениями взаимоотрицающими: в русском модернизме 1890-х годов они отлично совместились, и чем, как не сочетанием парнасской величавой классичности и символистской смутной импрессионистичности, оказалась собственная поэтическая манера Брюсова, выработанная им к 1900-м годам?

Рабочие тетради Брюсова 1890-х годов полны переводов из символистов и предсимволистов попеременно с оригинальными стихотворениями. Первые изданные им книги, маленькие выпуски «Русских символистов», уже включали переводы из Эдгара По, Верлена, Рембо, Малларме, Метерлинка, Тальяда. Раньше чем выпустить первый сборник собственных стихов, он поспешил напечатать сборник переводов из Верлена — «Романсы без слов» (1894). Старый Верлен был еще жив, безвестный переводчик успел послать ему эту книжку на непонятном языке с четверостишием: «Еще покорный ваш вассал, я шлю подарок созерену, и горд и счастлив тем, что Сену гранитом русским оковал...» Даже в «Tertia vigilia» (1900), первой книге зрелого, классического Брюсова, среди «любимцев веков» рядом с брюсовским Ассаргадоном

стоял «Соломон» Гюго, рядом с Клеопатрой — «Изоolda» д'Аннунцио и рядом со скифами — норвежские моряки Верхарна. Брюсов ощущал эти стихи своими и относился к ним, как к своим. Поэтому потом, переиздавая отдельно свои переводы из Верлена и Верхарна, он с извинением писал, что на некоторые из них «надо смотреть не более как на подражание», а один его «перевод» из Метерлинка («Уныние») потом без всяких оговорок занял место среди оригинальных брюсовских стихов.

Молодой Брюсов переводил не поэзию, а поэтику. Он выхватывал из переводимого произведения несколько необычных образов, словосочетаний, ритмических ходов, воспроизводил их на русском языке с разительной точностью, а все остальное передавал приблизительно, заполняя контуры оригинала собственными вариациями в том же стиле. В его тетрадях остался любопытный опыт перевода одного сонета Малларме — сперва подстрочный, потом стихотворный: подстрочник сделан с удивительной небрежностью, самые простые слова переведены в нем неправильно, но Брюсов не обращает на это внимания — это лишь толчки для его собственной импровизации в стиле Малларме, в окончательный вариант эти оплошности вообще не попадут, от подлинника там останутся лишь одна строка в начале сонета, три в середине да несколько слов в конце, а все остальное будет собственным брюсовским упражнением в манере Малларме, очередным экспериментом его художественной лаборатории.

В таком подходе к переводу Брюсов был не одинок среди современников, так же, как он, искавших путей к новой поэтике. Подобным же образом украшал Иннокентий Анненский если не все, то многие из своих фантазий на темы «парнасцев и проклятых»; подобным же образом Бальмонт переводил сплеча тома Эдгара По, Шелли и Уитмена, безукоризненно воспроизводя то, что ему нравилось в этих поэтах, и заменяя собственными вариациями то, что казалось ему в них недостаточно удачным; а Максимилиан Волошин, уже в 1919 г. собрав в книгу свои переводы из Верхарна, считал необходимым в предисловии предупредить читателя, что в тех переводах, которые он делал по доброй воле, он считал возможным опускать верхарновские строки и добавлять свои, и

только в нескольких переводах на заказ, к которым он был равнодушен, он старался быть точен.

Но Брюсов не был бы Брюсовым, если бы он остановился на таком интуитивном различии добра и зла в вопросах перевода. Его аналитический ум требовал осмысления стихийного опыта. Это осмысление касалось и материала и метода его переводов.

Как только Брюсов к 1900-м годам вырабатывает собственный художественный стиль — стиль «*Tertia vigilia*», «*Urbi et orbi*», «*Stephanos*», «Всех напевов», — прежняя потребность в переводческой лаборатории для него отпадает. Экспериментаторский интерес сменяется коллекционерским и просветительским: свой запас переводов он рассматривает уже не как сырье для собственного художественного производства, а как готовое изделие для читательского художественного потребления. Он пересматривает свои переводы, заменяет неудачные, восполняет пробелы, отделяет главное от второстепенного. Так составляется сборник «Французские лирики XIX века» (1909 и 1913), в котором пестрая россыпь имен больших и малых французских символистов упорядочивается по поколениям, снабжается биографическими и библиографическими заметками, превращается почти в историко-литературную хрестоматию. Из этой массы выделяются два имени, они теперь в центре брюсовского пантеона: это Верлен и Верхарн. Верлен был первой любовью Брюсова среди символистов, верность ему он сохранил до конца, и большой том брюсовских переводов из Верлена со статьями и примечаниями до сих пор остается одним из лучших изданий русского Верлена. (Только «одним из лучших», потому что вслед за Брюсовым с переводами Верлена выступил Ф. Сологуб, и книжечка его переводов была такова, что сам Брюсов, не любивший признавать поражений, заявил о его превосходстве; но славы первооткрывателя русского Верлена Брюсов не уступал никому.) Верхарн открылся Брюсову позже, к концу 1890-х годов, а по-настоящему зазвучал в его стихах в революционном 1905 году: и мятежность, и пафос, и трагизм великого бельгийского поэта обрели в русской поэзии такую революционную силу, какой они никогда не имели в контексте французской словесности. Брюсовский Верхарн остался образцовым: его переводили многие талантливые мастера и

при жизни Брюсова, и после его смерти, здесь было много и удач и неудач, но интонация, стиль, строй всюду оставались те, которые были заданы Брюсовым.

Как в выборе поэтов, так и в выборе приемов произвол уступает место обдуманности. Брюсов не собирается отказываться от своего способа перевода — от обычая переводить точно самые яркие художественные эффекты подлинника и приблизительно, по мере сил, — все остальное. Но он хочет дать себе отчет, почему ему кажутся самыми яркими в таком-то стихотворении такие-то черты, а в таком-то — совсем иные? И он отвечает: «Внешность лирического стихотворения, его форма, образуется из целого ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или менее полно чувство и поэтическую идею художника, — таковы: стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков... Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно — немисливо. Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Но есть стихи, в которых первенствующую роль играют не образы, а, например, звуки слов («The Bells» Эдгара По) или даже рифмы (многие из шуточных стихотворений). Выбор такого элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод перевода». Это написано в 1905 г. в статье под броским заглавием «Фиалки в тигеле» (статья начинается фразой Шелли: «Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой — это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха»). Поводом для статьи был сделанный Г. Чулковым перевод «Песен» Метерлинка, где Чулков переводил преимущественно образы, а не «склад стиха и его движение». И Брюсов продолжает: «В «Песнях» Метерлинка важнее их склад, чем их образы. Переводчик «Песен» вправе и обязан ради сохранения их склада жертвовать точной передачей их образов. «Вольным переводом этих «Песен» надо признать не тот, который удаляется от точного воспроизведения картин подлинника (если, конечно, замысел автора, «идея» песни и проникающее ее настроение сохранены), но тот, который разрушает особенности

ее склада. Часто необдуманная верность оказывается предательством».

Это очень хорошее описание того, что есть доминанта в структуре художественного произведения и как по этой доминанте должен строиться перевод. Мысль Брюсова хорошо запомнилась переводчикам, слова его не раз цитировались и цитируются до сих пор — особенно последние слова насчет «необдуманной верности», которая оказывается предательством. Не удовлетворен ею оставался только сам Брюсов. Эта формула была хорошим оправданием того, что он уже сделал в переводе, но недостаточным выражением того, что он хотел бы сделать. А он хотел большего. И это была не самонадеянная прихоть, а задача, закономерно выдвигаемая временем.

Дело в том, что новая культурная эпоха проявлялась не только в стремлении приобщиться поскорей к последним достижениям европейского модернизма от Верхарна до Жюль Ромена. Она проявлялась и в потребности перечитать по-новому наследие прежних веков: Пушкина, Гёте, Данте, Вергилия. Во всех этих смолоду знакомых классиках сверстники Брюсова с легкостью видели то, чего не видели их отцы, — с одной стороны, таинственные прозрения, с другой стороны, изысканные стиховые и образные эксперименты. Эти новые открытия на старых местах им хотелось донести до современников. Самым простым средством к этому были бы новые переводы на смену старым. Но каковы должны быть эти новые переводы? «По доминанте», как это следовало бы по программе «Фиалок в тигеле»? Однако выявить доминанту в художественной структуре не современного, а давнего произведения, да еще такого сложного, как «Фауст» или «Божественная комедия», — задача исключительной трудности. Да и допускает ли эта задача единственное решение? Ведь все великие создания прошлого уже переводились не раз и по-разному, каждое новое поколение в истории культуры видело их «доминанту» в том, что было ему ближе, делало соответствующие переводы, а затем приходило следующее поколение с иным взглядом, оставляло прежние переводы и бралось за новые. Где ручательство, что понимание «Фауста» символистами не отживет так же скоро, как

понимание его сперва романтиками, а потом реалистами, и что новый перевод по новой доминанте в свою очередь не устареет «на корню»? Ответ напрашивается один: классическую поэзию нельзя переводить так, как можно переводить поэзию новейшую: в новейшей поэзии можно непосредственным ощущением отличить главное от второстепенного и перевести одно точнее другое вольнее, в классической нет второстепенного, там все главное и все требует точного перевода. И чем дальше от нас во времени переводимое произведение, тем щепетильнее должны мы быть в этой точности. «Когда речь идет о переводе великих поэтов Эллады и Рима, — пишет Брюсов в 1913 г., всего лишь через восемь лет после «Фиалок в тигеле», — нам кажется необходимым передавать не только мысли и образы подлинника, но самую манеру речи и стиха, все слова, все выражения, все обороты; и мы твердо верим, что такая передача — возможна».

Это не значит, что прежний идеал перевода «по доминанте» отменяется, — это значит, что он раздваивается. Его программа предполагала точность в передаче главного и вольность в передаче второстепенного: выражаясь памятными словами Жуковского, в главном поэт-переводчик должен был быть «раб», во второстепенном — «соперник». Теперь эти две установки разъединились: путь привел к перепутью. В одну сторону он повел к идеалу абсолютной точности, в другую — как ни странно это звучит — к идеалу абсолютной вольности.

В самом деле, требуя от переводчика стать «рабом» великого подлинника, Брюсов и не думал запрещать ему «соперничество» с подлинником — он только отводил для этого соперничества четко обособленную область, область подражаний. У молодого Брюсова переводы неотличимо переливались в подражания — зрелый Брюсов ставит между ними непреходимую грань. Едва ли не впервые в истории русской поэзии он начинает разрабатывать поэтику подражания как специфического, внутренне определившегося жанра. В начале 1910-х годов одновременно с декларацией своей новой программы перевода Брюсов начинает работать над книгой «Сны человечества»: исполненным циклом стилизаций лирической поэзии всех веков и народов. Сюда должны были войти и некоторые

переводы (читатель найдет их в нашем сборнике), но главным образом — именно подражания. В наброске предисловия он писал: «Мне хотелось бы... слагать стихи не так именно, как слагали их первобытные люди, поэты восточной и античной древности, поэты средних веков, эпохи Возрождения и веков следующих вплоть до нашего... — но так, как они хотели слагать стихи. В обладании всеми теми средствами, какие дает техника современной поэзии, я хотел бы досказать то, что они порывались выразить...» Более отчетливой программы тезиса «переводчик в стихах — соперник» невозможно и желать. Но называть это переводом Брюсов отныне отказывается.

Итак, подражанию предоставляется передавать то, что «порывались выразить» поэты прошлого; на долю перевода остается только то, что они действительно сказали, но зато и *все* то, что они действительно сказали, без смягчений, без исключений. Не «пересказывать подлинник», как делали переводчики скромные, не «соперничать с подлинником», как делали переводчики честолюбивые, а «заменять подлинник» — вот формула, которую выдвигает Брюсов. «Вопрос стоит раньше всего о переводе классических произведений... В таких переводах, с одной стороны, важно и дорого действительно *каждое* слово, почти — каждый звук слова; изменить что-либо в переводе почти всегда значит обесцветить и обезличить оригинал. С другой стороны, в таких произведениях почти каждое слово давало повод на протяжении веков к многочисленным комментариям, спорам, выводам; заменять одно выражение другим — значит нередко зачеркнуть целую литературу по поводу этого слова. Переводя такие произведения, необходимо быть крайне осторожным и постоянно помнить, что за каждой строкой, за каждым стихом стоит длинный ряд толкователей, подражателей и ученых, строивших на этой строке или на этом стихе свои теории» («О переводе «Энеиды» Вергилия», 1920).

Перед нами — развернутая и обоснованная программа переводческого буквализма. Буквализм — это не бранное слово, а содержательное научное понятие. Перевод всегда есть равнодействующая между двумя крайностями — насилием над

традициями своей литературы в угоду подлиннику и насилием над подлинником в угоду традициям своей литературы. Насилие первого рода обычно и называется буквализмом; насилие второго рода иногда пытается именоваться творческим переводом. В истории перевода перевешивает попеременно то одна крайность, то другая: это так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой. Перевод буквалистский рассчитан прежде всего на узкий круг ценителей, знакомых с подлинником, перевод творческий рассчитан на широкую массу читателей, впервые знакомящихся с подлинником через перевод. Перевод буквалистский часто вызывает насмешки: «Он становится понятен, только если положить рядом подлинник». Но разве мало есть переводов «творческих», которые, наоборот, если положить рядом подлинник, вдруг приводят в совершенное недоумение? «Буквалистский» еще не значит «плохой», «творческий» еще не значит «хороший»; удачи и неудачи возможны как на том, так и на другом пути в зависимости не от принципа, а от мастерства и вкуса. Брюсов тоже изведаль и удачи и неудачи на избранном им пути буквализма; и так как он был экспериментатором-первопроходцем, то неудач у него было больше, чем удач.

Прежде всего была плодотворная неудача — перевод «Энеиды» Вергилия. Брюсов работал над ним всю жизнь, так и не успев его закончить, и от варианта к варианту перевод становился все последовательнее буквалистичен. Здесь каждый стих — решение отдельной задачи, исхищрение, цель которого — передать почти каждый образ, каждое слово, каждую аллитерацию подлинника; и в каждом стихе Брюсов достигает этой цели, но лишь за счет того, что теряется связь задач, связь стихов, и читать поэму подряд становится невозможно. Брюсову не удалось осуществить свою мечту — стать для Вергилия тем, чем стал Гнедич для Гомера, «переводчиком навсегда», но его титанический эксперимент не пропал даром: после него уже нельзя было переводить античных поэтов так, как до него, и пример его повлиял даже на практику таких переводчиков, которые вовсе не склонны к его теоретическим крайностям.

Затем была неплодотворная неудача — перевод «Фауста» Гете. Брюсов подступался к этому труду еще в молодости, осуществил его в 1919—1920 гг., первая часть перевода вышла посмертно, вторая

почти вся остается еще не изданной. Это неудача, потому что здесь слишком много буквализма, чтобы перевод был легок для читателя, и она неплодотворна, потому что здесь слишком мало буквализма, чтобы перевод был поучителен для писателя. Трудно отделаться от впечатления, что Брюсов был равнодушен к переводимому произведению: каждый стих здесь ставил перед переводчиком не меньше задач, чем в «Энеиде», но они не волновали Брюсова и он не решал их, а обходил. Такой же неплодотворной неудачей был и другой труд, замысел которого Брюсов вынашивал смолоду, — полный перевод стихов Эдгара По, вышедший в год смерти Брюсова: отдельные стихотворения удались Брюсову замечательно, но основной массив перевода остался холоден и громоздок.

И наконец, была неплодотворная удача — переводы из армянской поэзии (главным образом народной и средневековой), этот подвиг 1915 года, открывший русскому — и не только русскому — читателю целый новый поэтический материк. Иногда говорят, что причина удачи в том, что Брюсов отошел здесь от буквализма к творческому переводу; это не так, по черновикам видно, как боролся Брюсов за то, чтобы донести до читателя каждое, буквально каждое слово даже не подлинника, а подстрочника переводимой вещи. «Поэзия Армении» Брюсова могла бы стать таким же нарицательным образцом пагубности буквализма, каким стала, например, «Энеида», если бы за нее неожиданно не подали свой решающий голос сами армяне. Хранители и ревнители своей поэзии, они больше всего справедливо желали, чтобы «то, что действительно сказали» их поэты, и было передано в переводе, а не только служило толчком к собственному творчеству переводчиков. Переводы Брюсова были ими единодушно признаны за образцовые. Эта слава за ними и осталась, их переиздавали, их хвалили, — но им не подражали. Переводы из армянской поэзии, делавшиеся русскими поэтами после Брюсова, не продолжают его буквалистических принципов, а примыкают к той технике «творческого перевода», которая по естественному ходу истории сменила у нас обычай буквализма с середины 1930-х годов. Удача Брюсова осталась неплодотворной.

Мы должны ценить поэтов раздельно за их искания и за их достижения. Общепризнанные достижения Брюсова лежат на золотой середине между крайностями его исканий — это Верхарн, это Верлен, это «Французские лирики XIX века» в окончательных редакциях, это многие его переводы из поэтов разных стран и народов. Но и крайности его исканий тоже заслуживают внимания. Переводчики сегодняшнего дня могут найти неожиданно много близкого себе в практике самых ранних, самых вольных брюсовских переводов. А переводчики завтрашнего дня не пройдут мимо поздней буквалистической программы Брюсова и таких высоких ее образцов, как переводы из армянской поэзии.

М. Гаспаров

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

(1844—1896)

ИЗ КНИГИ «САТУРНИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ»

РЕЗИНЬЯЦИЯ

В дни юности мечтал я о Непале,
О славе папы иль царя царей,
Сарданапале, Гелиогабале...

Меж золота и дорогих камней,
Под музыку, в пьянящем аромате,
Мне снился рай ласкающих объятий...

Прошли года, и стих мой буйный пыл,
Узнал я жизнь, узнал ее законы,
Умею чтить границы и препоны,
Но прежних грез своих не разлюбил!

Пусть на пути к величию — Невозможность!
Все ж малого не славит мой язык!
И мне противны: милый женский лик,
Неточность рифм и друга осторожность!

ПАРИЖСКОЕ КРОКИ

Луна на стены налагала пятна
Углом тупым.
Как цифра пять, согнутая обратно,
Вставал над острой крышей черный дым.

Томился ветер, словно стон фагота.
 Был небосвод
Бесцветно сер. На крыше звал кого-то,
Мяуча жалобно, иззябший кот.

А я, — я шел, мечтая о Платоне,
 В вечерний час,
О Саламине и о Марафоне...
И синим трепетом мигал мне газ.

МАРИНА

Океан сурово
Бьет глухой волной
Под немой луной, —
Бьет волною снова.

В бурых небесах,
Злобный и могучий,
Разрезает тучи
Молнии зигзаг.

Каждая волна,
В буйстве одичалом,
Бьет по острым скалам,
Рвет, встает со дна.

Машет в отдаленьи
Ураган крылом,
И грохочет гром
В грозном исступленьи.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ НОЧИ

Дождь. Сумрак. Небеса подернуты и хмуры.
Рисуются вдали неверные фигуры
И башен и церквей готических. Кругом

Равнина. Виселицы черный шест. На нем
Качаются тела, в каком-то танце диком,
Все скорчены. Им грудь клюют, с зловещим криком,
Вороны. Ноги их — пожива для волков.
Терновник высохший да несколько кустов
Позор своей листвы, унылой и корявой,
На фоне сумрачном вздымают слева, справа.
И трех колодников, поникших головой,
Босых, измученных, ведет сквозь дождь конвой,
И тусклый блеск горит на саблях обнаженных,
Наперекор струям небесным наклоненных.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Долгие пени
Скрипки осенней,
Зов неотвязный
Сердце мне ранят,
Думы туманят,
Однообразно.

Сплю, холодею,
Вздвогнув, бледнею
С боем полночи.
Вспомнится что-то.
Все без отчета
Выплачут очи.

Выйду я в поле.
Ветер на воле
Мечется, смелый.
Схватит он, бросит,
Словно уносит
Лист пожелтый.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

[Вариант]

Осени стон,
Как похорон
Звон монотонный,
Там, за окном,
Все об одном
Плачется сонно.

С боем часов
Вздрогну. То зов
Воспоминаний.
Много теней
Прожитых дней
Жаждет рыданий!

Выйду, брожу,
В сумрак гляжу,
Плачет он, просит...
Я — одиночек!
Словно листок
Ветер уносит.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ЧАС

Луна ала на темных небесах;
Качается туман; луг холодеет
И спит в дыму; в зеленых тростниках
Лягушка квакает; прохлада реет.

Закрылись чаши лилий водяных;
Ряд тополей в немой дали туманен,
Прямых и стройных, — призраков ночных;
Блеск светляков, над ивняками, странен,

Проснулись совы; то вперед, то прочь,
На тяжких крыльях, лет бесшумный, мерный
Свершают; у зенита свет неверный,
И, белая, Венера всходит: ночь!

ЖЕНЩИНА И КОШКА

Она играла с кошкой. Странно,
В тени, сгущавшейся вокруг,
Вдруг очерк выступал неожиданно
То белых лап, то белых рук.

Одна из них, сердясь украдкой,
Ласкалась к госпоже своей,
Тая под шелковой перчаткой
Агат безжалостных когтей.

Другая тоже злость таила
И зверю улыбалась мило...
Но Дьявол здесь был, их храня.

И в спальне темной, на постели,
Под звонкий женский смех, горели
Четыре фосфорных огня.

ИЗ КНИГИ «ИЗЫСКАННЫЕ ПРАЗДНЕСТВА»

СИЯНИЕ ЛУНЫ

К вам в душу заглянув, сквозь ласковые глазки,
Я увидел бы там изысканный пейзаж,
Где бродят с лютнями причудливые маски,
С маркизою Пьерро и с Коломбиной паж.

Поют они любовь и славят сладострастье,
Но на минорный лад звучит напев струны,
И кажется, они не верят сами в счастье,
И песня их слита с сиянием луны,

С сиянием луны, печальным и прекрасным,
В котором, опьянен, им соловей поет,
И плачется струя, в томлении напрасном,
Блестящая струя, спадая в водомет.

ИЗ КНИГИ «МИЛАЯ ПЕСЕНКА»

* * *

Ах! пока, звезда денницы,
В свет дневной ты не ушла,
 (Из пшеницы,
Чу, кричат перепела.)

Обрати свой взор к поэту,
Посмотри в мои глаза!
 (Мчатся к свету
Жаворонки в небеса.)

Поспеши: твое сиянье
Быстро меркнет в синеве —
 (Стрекотанье,
Шум ликующий в траве!)

И, прочтя, чем думы полны,
Разгадав все тайны грез —
 (Словно волны,
С ветром зыблется овес.)

Прошепчи о всем нежнее
Там, где милой снится сон...
 (О, скорее!
Вот уж вспыхнул небосклон!)

* * *

И месяц белый
В лесу горит,
И зов несмелый
С ветвей летит,
Нас достигая...

О, дорогая!

Там пруд сверкает
(Зеркальность вод!)
Он отражает
Весь хоровод
Кустов прибрежных...

Час сказок нежных.

Глубокий, полный
Покой и мир
Струит, как волны,
К земле — эфир,
Весь огнецветный...

О, миг заветный!

* * *

Гул полных кабаков; грязь улицы; каштана
Лысеющего лист, увядший слишком рано;
Железа и людей скрежещущий хаос, —
Громадный омнибус, меж четырех колес
Сидящий плохо, взор, то алый, то зеленый,
Вращающий кругом; рабочий утомленный,
Городовому в нос пускающий свой дым
Из трубки; с крыш капель; неверный по сырым
Каменьям шаг; асфальт испорченный; по краю
Потоки грязные; — и это — путь мой к раю!

ИЗ КНИГИ «РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ»

* * *

*Son joyeux, importun d'un clavecin
sonore*

Perus Borel

Целует клавиши прелестная рука;
И в сером сумраке, немного розоватом,
Они блестят; напев, на крыльях мотылька,
(О, песня милая, любимая когда-то!)
Плывет застенчиво, испуганно слегка, —
И все полно ее пьянящим ароматом.

И вот я чувствую, как будто колыбель
Баюкает мой дух, усталый и скорбящий.
Что хочешь от меня, ты, песни нежный хмель?
И ты, ее припев, неясный и манящий,
Ты, замирающий, как дальняя свирель,
В окне, растворенном на сад вечерний, спящий?

* * *

Печаль, печаль в душе моей, —
О ней, о ней, всегда о ней!

* Докучный, радостный звук звонкого клавира.
Петрюс Борель.

Я утешенья не обрел,
Хотя ушел, давно ушел,

Хотя и сердцем и душой
Расстался с женщиною той.

Я утешенья не обрел,
Хотя ушел, давно ушел!

И сердце чуткое мое
Твердит: «Что значит это все?

Была ль возможна, ах, была ль
Разлуки гордость и печаль?»

Ему душа в ответ твердит:
«Я знаю, что нам Рок сулит:

Быть там, откуда мы ушли,
Быть с ней, хоть от нее вдали!»

* * *

Тянется безмерно
Луговин тоска.
Блещет снег неверно,
Как пласты песка.

Небеса без света,
Тверды, словно медь.
Месяц глянул где-то,
Вновь чтоб умереть.

Зыблется, как тучи,
Дальний, серый бор,
Там, где пар летучий
Кроет кругозор.

Небеса без света,
Тверды, словно медь.
Месяц глянул где-то,
Вновь чтоб умереть.

Ворон, с хриплым криком,
Старый волк худой,
Вам в просторе диком
Хорошо зимой!

Тянется безмерно
Луговин тоска.
Блещет снег неверно,
Как пласты песка.

* * *

*Соловью, который с высоты
ветки глядится в реку, кажется,
что он упал туда. Сидя на верши-
не дуба, он боится утонуть.*

Сирано де Бержерак

Деревьев тень в воде, под сумраком седым,
Расходится как дым.
Тогда как в высоте, с действительных ветвей,
Рыдает соловей.

И путник, заглянув к деревьям бледным, — там
Бледнеет странно сам,
Л утонувшие надежды и мечты
Рыдают с высоты.

ШАРЛЕРУА

Кобольдов прячет
Зеленый дрок.
Чу! ветерок
Как будто плачет.

Чем вдруг запахло?
Шумит овес,
И куст до слез
Бьет веткой чахлой.

Глядит чуланом
Здесь каждый дом;
И все кругом
В дыму багряном.

Вокзалов скрежет
Со всех сторон.
Взор изумлен:
Весь город где же?

Пронесся быстро
Упорный стук,
Как будто звук
Большого систра.

Притон работы,
Твой облик дик!
Металла крик
И запах пота!

Кобольдов прячет
Зеленый дрок.
Чу, ветерок
Как будто плачет.

GREEN
[ЗЕЛЕНЬ]

Вот ранние плоды, вот веточки с цветами,
И сердце вот мое, что бьется лишь для вас.
Не рвите же его лилейными руками,
Склоните на меня сиянье кротких глаз.

Я прихожу еще обрызганный росой,
Что ветер утренний оледенил на лбу.
Простите, что опять я предаюсь покою
У ваших ног, в мечтах благодаря судьбу.

Еще звенящую последним поцелуем,
Я голову свою вам уроню на грудь.
Пусть буря замолчит, которой я волнуем,
А вы, закрыв глаза, позвольте мне уснуть!

ИЗ КНИГИ «МУДРОСТЬ»

* * *

Мне встретился рыцарь Несчастье, что скачет и ночью, и днем,
В молчаньи, под тяжким забралом: он сердце пронзил мне
копьем.

Мгновенно из ветхого сердца кровь брызнула алой струей,
Цветы оросила и, с солнцем, потом испарилась росой.

Но мрак отуманил мне очи, но стон мой до уст не достиг,
И умерло ветхое сердце во мне в тот мучительный миг.

Таинственный рыцарь Несчастье спрыгнул с вороного коня,
Рукою в железной перчатке он властно коснулся меня.

Я чувствовал твердые пальцы, проникшие в рану мою,
А голос, суровый и строгий, меня призывал к бытию.

И вот, под холодным давлением руки, обложенной в металл,
В груди моей сердце воскресло, и трепет по мне пробежал.

Да, юное, чистое сердце, блестя неземной белизной,
Забилось свободно и гордо для жизни безвестной, иной.

Еще я дрожал, опьяненный, еще я поверить не мог,
Как всякий, кто видит виденье, с кем явно беседует бог.

А рыцарь с закрытым забралом поспешно вспрыгнул на коня
И сделал мне знак, удаляясь, мгновенье глядел на меня.

И крикнул мне голосом страшным (я слышу еще этот гром):
«Мой первый завет: повинуйся! что дальше, узнаешь потом!»

* * *

Враг принимает облик Скуки,
И говорит: «К чему, мой друг?»
Но я смеюсь, сжимая руки.
Враг принимает облик Тела,
И шепчет: «Посмотри вокруг,
Вот женщина!» Молчу я смело.

Враг принимает облик новый,
Он — ангел света, шепчет вновь:
«Что твой порыв, твой пост суровый,
Пред тем, что сердце должно богу!
Как смерть сильна ль твоя любовь?»
Твержу: «Иду я понемногу!»

Он — логик от начала света,
Я должен обуздать свой ум
И не искать ему ответа,
Кто это, зная без сомненья!
Пусть жизни раздается шум,
Молиться буду о смиренности!

* * *

Надежда чуть блестит, как под окном солома.
Не бойся: пролетел полетом пьяный шмель.
Закатные лучи стремятся пылью в щель.
На руки голову склони и спи. Ты дома.

О бедный, бедный друг, испей воды хотя
Холодной. После спи. Я здесь, взгляни: мы двое.
Баюкать буду я, а ты мечтай в покое.
И тихо подпевай, как малое дитя.

Бьет полдень. Он уснул. Из жалости уйдите.
Как женские шаги томительны в мозгу
Отверженцев больных, что грезят о защите!

Бьет полдень. О, усни! Давно не нужны слезы.
Надежда чуть блестит, как камень на лугу...
Когда сентябрьские опять воскреснут розы!

* * *

Огромный, черный сон
Смежил мне тяжело вежды.
Замри, ненужный стон,
Усните, все надежды!

Кругом слепая мгла.
Теряю я сознание,
Где грань добра и зла...
О, грустное преданье!

Я — словно колыбель.
Ее в глубокой нише
Качает темный хмель:
О, тише, тише, тише!

* * *

Небосвод над этой крышей
Так высок, так чист!
Стройный вяз над этой крышей
Наклоняет лист.

В небе синем и высоком
Колокольный звон.
Чу! на дереве высоком
Птицы тихий стон.

Боже! Боже! все так мирно,
Просто предо мной!
Еле слышен, тихий, мирный,
Ропот городской.

«Что ж ты сделал, ты, что плачешь
Много, много дней,
Что ж ты сделал, ты, что плачешь,
С юностью твоей?»

* * *

(Вариант)

Небо над этою крышей
Так светло, так нежно,
Ветви над этою крышей
Дрожат безмятежно.

Колокол в небе далеком
Рыдает так нежно.
Птичка на дубе высоком
Поет безмятежно.

Боже! все светло и нежно,
Лишь издалека
Слышится ропот мятежный...
Он издалека.

— Ты, что здесь плачешь мятежно,
Что же ты сделал,
С юностью светлой и нежной
О, что ты сделал!

* * *

Охотничий рожок рыдает у леска,
Печальной жалобой, как будто сиротливой.
И молкнет этот звук над опустелой нивой,
Сливаясь с лаем псов и свистом ветерка.

Но вскоре новый стон звучит издалека...
Не волчья ли душа в нем плачется тоскливо?
А солнце за холмом, как будто бы лениво
Скрывается; кругом — и сладость и тоска!

И чтоб усилить миг подавленной печали?
Вуалью белой скрыв огни багряной дали?
Как нити корпии, снег реет на поля;

И воздух — словно вздох осенний, утомленный...
Но кроток без конца весь вечер монотонный,
В котором нежится усталая земля!

ИЗ КНИГИ «КОГДА-ТО И НЕДАВНО»

ХРОМОЙ СОНЕТ

Посвящается Эрнесту Делаз

О нет! воистину все это слишком больно!
Несчастливым можно ль быть, как я, как я теперь?
Здесь умираю я, как бедный, жалкий зверь,
А зрители кругом беспечны и довольны!

О город Библии! О Лондон! Дым, шум, ад,
И газ мерцающий, и вывесок сверканье!
И стиснуты дома: как будто заседание
Упрямых стариков, — чудовищный сенат!

Все прошлое кричит, мяучит, скачет,
В тумане розовом и грязном, где sohos
Царит, и вместе с ним: indeeds, all rights, hâos !

О нет, воистину все это слишком грустно,
И силы нет терпеть те пытки без надежд...
О город Библии! о, где ж огонь с небес!

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Посвящается Шарлю Морису

О музыке на первом месте!
Предпочитай размер такой,
Что зыбок, растворим и вместе
Не давит строгой полнотой.

Ценя слова как можно строже,
Люби в них странные черты.
Ах, песни пьяной что дороже,
Где точность с зыбкостью слиты!

То — взор прекрасный за вуалью,
То — в полдень задрожавший свет,
То — осенью, над синей далью,
Вечерний, ясный блеск планет.

Одни оттенки нас пленяют,
Не краски: цвет их слишком строг!
Ах, лишь оттенки сочетают
Мечту с мечтой и с флейтой рог.

Страшись насмешек, смертных фурий,
И слишком остроумных слов
(От них слеза в глазах Лазури!),
И всех приправ плохих столов!

Риторике сломи ты шею!
Не очень рифмой дорожи.
Коль не присматривать за нею,
Куда она ведет, скажи!

О, кто расскажет рифмы лживость?
Кто, пьяный негр, иль кто, глухой,
Нам дал грошовую красоту
Игрушки хриплой и пустой!

О музыке всегда и снова!
Стихи крылатые твои
Пусть ищут, за чертой земного,
Иных небес, иной любви!

Пусть в час, когда все небо хмуро,
Твой стих несется вдоль полян,
И мятою и тмином пьян...
Все прочее — литература!

ИСТОМА

Посвящается Жоржу Куртелину

Я — одряхлевший Рим, на рубеже паденья.
Смотрю, как варваров стремится рать вперед,
А сам беспечные пишу стихотворенья,
Где в стиле золотом истома солнца жжет.

Но одинокий дух сгорает от томленья...
Там где-то, говорят, кровавый бой идет...
О! ничего не мочь, в ответ на все моленья!
О! ничего не ждать, что скрасит этот гнет!

Увы! не мочь! не ждать! быть умереть не в силах!
Все выпито! Бафил, не смейся надо мной!
Все выпито! И что сказать в стихах унылых?

Ах, лишь последний раб, всегда насмешник злой,
Ах, лишь наивный гимн, что надо бросить в пламя,
Да грусть, что над душой свое воздвигла знамя!

ИЗ ПОЗДНИХ КНИГ

САПФО

С глазами вжавшими и с поднятою грудью,
Желанием своим измучена, она
Волчицей дикою блуждает по безлюдью.

В ее мечтах Фаон. Давно не зная сна,
Напрасно исходя мольбами и слезами,
Она рвет волосы роскошные клоками.

Ей помнится пора цветущая, когда,
Прославлена мольбой, она свои напевы
Слагала в честь подруг, чиста и молода,
И песням сладостным, стыдясь, внимали девы.

И вот, закрыв глаза, на голос Мойры, вдруг
В глубь волн бросается, не в силах снести измены...
И море черное горит в лучах Селены,
Богини девственной, что мстит ей за подруг.

ПЬЕРРО

Не Пьерро, в траве зеленой,
Не Пьерро, в поля влюбленный,
Но Пьерро, Пьерро, Пьерро!
Он — мальчишка, парень смелый,
Без скорлупки плод незрелый,
Вот Пьерро, Пьерро, Пьерро!

Ростом он не выше метра,
В голове — гулянье ветра,
Но в глазах сверкает сталь!
Как на месте искра эта
У проказника поэта,
Что не знает про печаль!

Губы — алые, как рана,
Где разврат уселся рано,
Зубы — белые зубцы;
И лица овал античный,
Бледный, тонкий и привычный
Созерцать, смеясь, концы...

Тело хило, но не тонко;
Голос — как у девы, звонкий;
Тело мальчика, а смех
Головной, как нож тревожит!
Существо, что сразу может
Опьянить желанья всех!

Милый брат, товарищ старый!
Будь чертенком, делай чары
И в Париже, и в мечтах,
И в стране, нам неизвестной!
Низкий, гордый, злобный, честный,
Будь душою в наших снах!

Вырастай — на диво миру,
Грусть богатую кубируй,
Утрой веселость ты!
Искаженье и прикраса,
Символ верный и гримаса
Нашей новой простоты!

* * *

Дни осени настали,
Зевая, приказали
Про лето позабыть.
Дрожь осени так кстати
Нас кутает в кровати.
Что ж! в ней и будем жить!

Мне ненавистно лето!
Несносно слышать это:
«Как жарко! будем спать!»
Так глупо тратить миги,
Быть скучными, как книги!
Вот осень, и кровать.

Один в другом, забудем
Весь мир! Как угли, будем
Друг друга жечь, колоть!
Да будет наше знамя;
Стать яростней, чем пламя,
Стать пламенней, чем плоть!

ПРОЛОГ

К сборнику «Плоть»

Любовь, любовь неутомима!
Как дьявол, — яростью томима,
Мила, — как вздохи херувима!

Любовники неутомимы;
Как дьяволы, неумолимы,
Настойчивы, как херувимы!

Вокруг неопытных сердец,
Бродя, как волк вокруг овец,
Они их ловят наконец.

Любовник — он всегда хитрец!
Наохлившись, как голубь, лжец
Умеет положить конец!

А все любви метаморфозы!
Уста — гранат, ланиты — розы,
Смех грустный, сладостные слезы!

И все, о чем немеет греза!
Цель и причина, стих и проза!
Стоит пион, раскрыта роза!

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН

(1855—1916)

ИЗ КНИГИ «ФЛАМАНДКИ»

ФЛАМАНДСКОЕ ИСКУССТВО

I

Была, кисть Фландрии, близка
Ты с девками: запечатлела
В шедеврах крепкое их тело
И грудей алых два соска.

И все — царицы и богини,
Нимф розоватый хоровод,
Встающий островом из вод,
Сирены над пучиной синей,

Живые символы весны
И лета, с их улыбкой свежей,
У нас все это — девки те же,
Искусством обожествлены.

Вы, создавая их — телесных
Всегда, и жирных, и нагих, —
Зажгли огонь под кожей их
Каких-то красок неизвестных.

Их тело — светлые тона,
Их взоры — звезд лучистых свету,
А груди блещут, как букеты
Прекрасной плоти, с полотна.

Вкруг женщин, здесь и там, сильваны:
Они катаются в кустах
Иль прячутся в густых ветвях,
Грехом потея, страстью пьяны.

Соблазн в их безобразьи скрыт;
Сверлит их взор горящий тени;
Они хохочут от хотений,
И чужд живому смеху стыд.

То с кобелями суки в ведро!
Льнут самки к ворогам своим,
На миг сопротивляясь им,
Сжимая розовые бедра;

Потом охотней и смелей
Круглят крутые ляжки, спины
Нагие гнут, до половины
Закрыты золотом кудрей,

И подстрекают, торжествуя,
Пойти на приступ, все посметь.
Ведь эти женщины краснеть
Способны лишь до поцелуя.

II

Ваш взор постиг и подсмотрел,
Меж роскоши и меж богатства,
Меж ужасов и святотатства,
Всю красоту, всю прелесть тел.

На ваших радостных полотнах
Нет женщин бледных и худых,
Как листья лилий водяных,
Как лунный лик в водах болотных;

Нет их больных, усталых глаз,
Всегда задумчиво печальных,
И — словно вздохов музыкальных —
Склоненных лиц в вечерний час;

Нет их простертой на диванах
Поддельной, лживой красоты
В шелках, в уборах из тафты
И в кружевах благоуханных.

Нет! вы не ведали румян.
Прикрас, обманов и глубоко
Во лжи сокрытого порока,
Всего, чем век наш горд и пьян!

У смело смятых изголовий
Вы позволяли нам взглянуть
На радостно нагую грудь, —
В полузадернутом алькове,

Где Афродита пастухов
И повседневные Цитеры
Стонали в счастье без меры,
Краснея от бесстыдных слов!

И в пышности средневековья,
Меж золота и меж порфир,
Всех ваших женщин пестрый мир
Исполнен силами здоровья!

В них жир белел, аела кровь,
Они с осанкой царской власти
Владели буйством сладострастий
И радостью твоей, — любовь!

ИЗ КНИГИ «МОНАХИ»

МОНАХ-ЕРЕСИАРХ

Вот, в рясе траурной, ересиарх-монах.
Не храм ли гордости возводит он в мечтах,
Один, совсем один, безмолвными руками,
И днем, в огне страстей, и жгучими ночами?
На вечном «Верую» он строит новый дом,
Как пламенный маяк на берегу морском,
Чтоб заточить в стенах свой бред, свои мученья,
Ложь знания своего, пыл своего сомненья,
И бросить в этот храм железный разум свой,
Огонь души своей, крик жизни молодой!
И храм встает, встает — живая башня — выше,
Бросая, как лучи, спокойный ужас с крыши,
Величье почерпнув в отдельности своей,
Под кротким вызовом сияющих лучей.
Сверкают в вышине холодные спирали,
Как роковой узор, как звезды синей дали:
Космическая мысль, как строгие глаза,
Глядит на Господа упрямо в небеса!

*

Так он живет, один меж всех, как зачумленный;
Как гроб повапленный без дани похоронной,

На сумрак осужден и мучим Сатаной,
В проказе умственной, изнеможен борьбой,

Всю ночь, до дня, его сомненье тайно гложет;
Мертв для молитв, он петь с другими гимн не может;

Безмерной тяжестью согбен, вперив в упор
На красные огни видений — блеклый взор,

Проводит что-то он и все ж, томим химерой,
Не смеет яростно порвать с условной верой,

Той, что торжественно трубит по миру в рог,
И коей вечный Рим есть золотой чертог.

Но день придет, и он падет, монах простертый,
Под гнетом ужаса, под грузом веры мертвой,

Нем, не ища надежд на небе голубом,
Как человек, кого сразил небесный гром.

*

Потом восстанет он, велик земным величием.
Под римской молнией, с бестрепетным обличем,

Пойдет, внося в сердца то ярость, то любовь,
И тень его, упав, погасит светы вновь.

О сколько сект и книг, школ и учений тайных
Возникнет некогда вокруг слов его случайных,

И мир, что папами обещан королям,
Увидит, как кресты качнутся здесь и там!

Все страсти, ненависть, и диспуты, и споры,
Ломая гнет цепей, как яростные своры

Свободу дикую почуявших зверей,
Зубами раздробят догматику церковей;

Повеет ураган веков давно забытых,
Погасит факелы в святилищах разбитых;

Наляжет черный мрак могильной тишиной
От алтарей пустых до паперти пустой,

А там, над далями, горящими пожаром,
Мечи и посохи взметнутся в жесте яром.

ИЗ КНИГИ «ВЕЧЕРА»

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Распятые в огне на небе вечера
Струят живую кровь и скорбь свою в болота,
Как в чаши алые литого серебра.
Чтоб отражать внизу страданья ваши, Кто-то
Поставил зеркала пред вами, вечера!

Христос, о пастырь душ, идущий по полянам, —
Звать светлые стада на светлый водопой,
Гляди: восходит Смерть в тоске вечеровой,
И кровь твоих овец течет ручьем багряным...
Вновь вечером встают Голгофы пред тобой!

Голгофы черные встают перед тобою!
Внесем же к ним наш стон и нашу скорбь! Пора!
Прошли века надежд беспечных над землею!
И никнут к черному от крови водопою
Распятые во тьме на небе вечера!

ЛОНДОН

То — Лондон, о мечта! чугунный и железный,
Где стонет яростно под молотом руда,
Откуда корабли идут в свой путь беззвездный —
К случайностям морей, кто ведает куда!

Вокзалов едкий дым, где светится мерцаньем,
Серебряным огнем, скорбь газовых рожков,
Где чудища тоски режут по расписаньям
Под беспощадный бой Вестминстерских часов.

Вдоль Темзы — фонари; не парок ли бессонных
То сотни веретен вонзились в темь реки?
И в лужах дождевых, огнями озаренных, —
Как утонувшие матросов двойники.

И голоса гуляк, и жесты девки пьяной,
И надпись кабака, подобная Судьбе, —
И вот, внезапно Смерть в толпе, как гость незванный...
То — Лондон, о мечта, влачащийся в тебе!

ИЗ КНИГИ «РАЗГРОМЫ»

ГОЛОВА

На черный эшафот ты голову взнесешь
Под звон колоколов и глянешь с пьедестала.
И крикнут мускулы, и просверкает нож, —
И это будет пир, пир крови и металла!

И солнце рдяное и вечера пожар,
Гася карбункулы в холодной влаге ночи,
Узнают, увидав опущенный удар,
Сумели ль умереть твое чело и очи!

Зло величавое в толпу змеей вползет,
В толпу, — свой океан вокруг помоста славы
Смирившей, — и она твой гроб, как мать, возьмет,
Баюкать будет труп, кровавый и безглавый.

И ядовитее, чем сумрачный цветок,
Где зреет ярче яд, чем молнии сверканье,
Недвижной и острей, чем впившийся клинок,
Властней останется в толпе воспоминанье.

Под звон колоколов ты голову взнесешь
На черный эшафот и глянешь с пьедестала!
И крикнут мускулы, и просверкает н о ж , —
И это будет пир, пир крови и металла!

ИЗ КНИГИ «ЧЕРНЫЕ ФАКЕЛЫ»

МЯТЕЖ

Туда, где над площадью — нож гильотины,
Где рыщут мятеж и набат по домам!
Мечты вдруг, безумные, — там!

Бьют сбор барабаны былых оскорблений,
Проклятий бессильных, раздавленных в прах.
Бьют сбор барабаны в умах.

Глядит циферблат колокольни старинной
С угрюмого неба ночного, как глаз...
Чу! бьет предназначенный час!

Над крышами вырвалось мстящее пламя,
И ветер змеистые жала разнес,
Как космы кровавых волос.

Все те, для кого безнадежность — надежда,
Кому вне отчаянья — радости нет,
Выходят из мрака на свет.

Бессчетных шагов возрастающий топот
Все громче и громче в зловещей тени,
На дороге в грядущие дни.

Протянуты руки к разорванным тучам,
Где вдруг прогремел угрожающий гром,
И молнии ловят излом.

Безумцы! кричите свои повеленья!
Сегодня всему наступает пора,
Что бредом казалось вчера.

Зовут... приближаются... ломаются в двери...
Удары прикладов качают о к н о, —
Убивать — умереть — все равно!

ЖЕНЩИНА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

— В злато-эбеновом городе,
Женщина в черном, на перекрестке,
День за днем, опять и опять,
Чего ж тебе ждать?

— Надежды черные, как свора черных псов,
Опять пролаяли, так длительно, на луны,
На луны черные моих зрачков,
Что были некогда восторженны и юны;
Так длительно, так издали, — на луны
Моих безмолвных и больших зрачков.
Как траур с золотом — моих волос прибои,
Что дразнят свору черных псов;
И зыблют вихри гордых снов
Все это тело золотое!

— Женщина в черном, на перекрестке,
День за днем, опять и опять,
Чего ж тебе ждать?

— Поставив паруса, летят к каким набатам,
К каким вечерним снам, отчаяньем объатым,
Сосцы моих грудей, — в какой же черный рай?

Что за Валгалла иступленных фурий
Иль что за кони, вздыбленные бурей,
Мои уста сегодня, — отвечай!

Ах, что за пламя в крушеньях ярых
Для псов, что лижут ярость мою,
И что за кара в моих пожарах,
Чтоб жаждасть смерти, что я таю?

— Женщина в черном, опять и опять,
День за днем, чего ж тебе ждать?

— Я, — гибель, чьи укусы — нежность.
Поняв погибельность свою,
Влеку все в ту же безнадежность,
Я погибаю и гублю.

Блистают губы кровью красной,
Я блеском их озарена.
Прохожий! я, как смерть, прекрасна
И всенародна, как она.

Ко мне подходит каждый смело,
Следы желаний метит он
На пышном катафалке тела,
При ярком свете похорон.

Я всем даю мои томленья,
Хмелю я всех у входа в храм.
Моей любви богохуленья —
Встают, как факел, к небесам.

Я высюсь башней драгоценной,
Вся из железа и веков.
Мои дары для всех презренны,
И каждый их вкусить готов.

Я — для безумцев безвозвратных,
Для злобных душ, для душ больных:
Им сладостно, что мне отвратны
Их ласки и презренья их.

Им сладко, что могу их ждать я
В их черно-пурпурном аду,
Где — зная алого проклятья,
Разметанное в их бреду!

— Женщина в черном, на перекрестке,
День за днем, опять и опять,
Чего ж тебе ждать?

— Вот солнце старое, сдаваясь перед мглой,
В осколках золотых лежит по мостовой,
И город тянется змеиным извиваньем
Огней и отблесков, куда влечет магнит
Предвечный: Женщина! он в темноте стоит
На горизонте гордым извиваньем.
Вся свора черных псов,
Псы безнадежности пролаяли на луны,
На луны черные моих зрачков,
Что были некогда восторженны и юны;
Так длительно, так издали, — на луны
Моих безмолвных и больших зрачков.
Что за огонь бежит от бедер, скоро, скоро,
По золотому телу моему?
Каким сияньем грудь горит во тьму,
Что черных псов осатанела свора?
Что за Валгалла иступленных фурий
Мои уста, колеблемые бурей?
И рвутся волоса, поставив паруса,
В какой же черный рай, к н а б а т а м, — отвечай!

— Женщина в черном, на перекрестке,
День за днем, опять и опять,
Чего ж тебе ждать?

— Я жду прихода рокового
Того, к кому мой ужас льнет;
Он должен быть со мной; я снова
Сегодня жду, и он придет!

Мучительством, что чуждо людям,
Он жив, и в нем оно — любовь
К моим неукротимым грудям!
Рукам, что проливают кровь,
Я отдаю, бледнея, тело:
Я — та, кому ничто не страх,
Кто брошена для всех, в веках,
Соблазн последний, без предела!

Так кто ж меня возьмет сегодня
В любом притоне преисподней?

— Женщина в черном,
На перекрестке, со взором упорным,
Кого же ты ждешь?

— Того, чей окровавлен нож.

ВЕЧЕР

Под каменным небесным сводом
Стале-эбеновых столпов
Вот смолкли стоны молотков.
Вступила ночь. С ее приходом
Вот смолкли стоны молотков,
Что строят днем (ряды веков!)
Хрустальный свет небесным сводам.

Изваянный обломок льда,
Луна, мертва безмерно, сходит,
Без отзвука, и не находит
Ни тучки — скрыться от стыда.
Луна, мертва безмерно, сходит,
Одета в саван золотой,
На север, лестницей крутой.

Меж спутниц, девственных и мирных,
Эфирный путь вершит она,
В стекле озер отражена
И в зеркале болот сапфирных;
Эфирный путь вершит она —
К часовне, где огнем унылым
Мерцают факелы могилам.

Под твердью, что озарена
Мерцаньем факелов унылым,
Проходит медленно к могилам,
В час похорон своих, луна.

СМЕРТЬ

В одежде, цвета пламени и яда,
Рассудка моего безжизненное тело
Влачится вниз по Темзе онемелой.

Мосты из бронзы, где вагоны,
Встречаясь, будят отзвуки и стоны;
И крылья мрачных парусов
Бросают тень на высь валов;
Огромный циферблат, чьи стрелки недвижимо
Застыли, красной маской скрыт,
Угрюм, на жалкий труп глядит;
Безмерно-мертвый, тот влачится мимо.

Он — мертв, от жажды все понять,
Изваять вечные начала
В гранитной тверди идеала,
Вещей и лиц причины знать!
Он — мертв (и вот плывет, кровавый!)
От познавательной отравы.
Он — мертв, безумно возжелав
Абсурдно-безграничных прав.

Он умер в упоеньи бреда,
Когда, казалось, снизошла
К нему желанная победа
Полетом праздничным орла!
Он умер: вдруг угасла сила,
Что волю в правду претворила!
Он умер, слишком истончив
Свой необузданный порыв!

Вдоль набережной полусонной,
Вдоль стен, скрывающих завод,
Где молот молнии кует,
Кортеж влачится похоронный.

Казармы, стены, фонари,
Ряд фонарей, что, без ответа,
Недвижно, будут ждать зари;
Блеск тусклый золота и света;
Грусть камней; камней полоса;
Чернь башен; кирпичи строений;
Глядящие в туман и в тени
Их о к н а, — мутные глаза;
Мир стапелей, где ночь темнее;
Ряд обеснащенных судов
И четвергованные реи,
Под небом мировых голгоф!

В уборе мертвых камней самоцветных,
Зажженных пурпуром огней рассветных,
Рассудка моего безжизненное тело
Влачится вниз по Темзе онемелой.

Ко всем случайностям плывет
Он, сквозь туман, по мути вод,
Под дальний гул глухих набатов,
Разбитых о уступы скалов;
А сзади, пробудясь, дымит
Безмерный город, вновь не сыт;
Плывет в седую бесконечность,
Чтоб спать в вечеровых гробах,
Туда, где, сумрачны и полны,
Вскрыв беспредельность щелей, волны
Медлительно приемлют в вечность
— Каждый прах.

ЧИСЛА

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ,
Со лбом, в бореньях роковых
Разбитым о недвижность их!

На жесткой почве, с прямою иглы,
Глухого леса высятся стволы;
Их ветки — молний извиванья;
Вверху — квадратных скал углы,
Громады страха и молчанья;
И бесконечность в вышине
Алмазных звезд, с небес ко мне
Глядящих, — строги и суровы;
И за покровами покровы
Вкруг золотой Изиды, в вышине!

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!

Как взоры пристальны их роковых проблем!
Первичные, они — пред нами суть затем,
Чтоб в вечности пребыть такими ж!
От их всевластных рук вселенной не отыметь,
Они лежат на дне и в сущности вещей,
Нетленно проходя сквозь мириады дней.

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!

Открою я глаза: — их чудеса кругом!
Закрою я глаза: — они во мне самом!
За кругом круг, в бессчетных сочетаньях,
Они скользят в воспоминаньях,
Я погибаю, я пропал,
Разбив чело о камни скал,
Сломав все пальцы об утесы...
Как бред кошмара — их вопросы!

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!

Вы тексты от каких затерянных страниц?
Остатки от какой разрушенной вселенной?
Ваш отвлеченный взор, взор глаза без ресниц, —
Гвоздь, проходящий в сталь, меч, острый неизменно!
От ваших пристаней кто вдаль не отплывал?
Но гибли все ладьи о зубья тайных скал;

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!

Мой ум измучен и поник
На берегах спокойных книг,
В слепящем, словно солнце, мраке;
И предо мной, во мгле теней,
Клубком переплетенных змей
Взвиваются хмельные знаки.
Я руки протянул во мгле:

Но вашей тяжестью к земле
Я наклонен в порыве смелом,
Я изнемог, я изнемог —
На переходах всех дорог
Встречаться с вами, как с пределом!

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!

Доколе ж длительная пытка
Отравленного их напитка,
Вливаемого в грудь с высот?
Как знать, реальность или тени
Они? но, холоден, как лед,
Их роковой закон гнетет
Чудовищностью нарушений!
Доколь бессчетность в вышине
Алмазных звезд, в их вечном сне,
Взор устремляющих ко мне
Неумолимо и сурово?
О, вечно ль не сорвать покрыва
Вкруг золотой Изида, в вышине!

ИЗ КНИГИ «КРАЯ ДОРОГИ»

К ЧЕМУ-ТО

Линовщики воды, вы, листья цвета глины,
В равнинах вечности моих, о, сколько вас!
И дождь, и снова дождь, и ветер за часом час,
Что вторит, пучится, раздутый вдоль долины,
И падает, пронзен дождем и под дождем.

— Ноябрь, ноябрь во мгле моей души! —
Вы, листья цвета мук моих, о, сколько вас!

Равнины вечности моей, вы под дождем,
Струя к струе, давно — в уныньи ледяном.

— Ноябрь во мгле моей души!
То ветер Севера, в тиши,
Как зверь, рычит во мгле души.

Вы, листья цвета бурости и мук,
Здесь, над равнинами, о, сколько вас вокруг!
Вы, листья цвета мук и слез,
О, сколько вас над прежним полем грез!

В лохмотьях облаков
Над глазом тусклым и слепым,
Под ураган, сквозь гул и рев,
Поникло солнце тусклым и слепым.

— Ноябрь во мгле моей души! —
Ряд ив, нагнувшихся к болотам дряблой тины,
И черные бакланы сквозь туманы,
Их выкрики упорные, их крики
Однообразные, их в бесконечность крики.

— Ноябрь во мгле моей души! —

В воде там барка длит свое гнилье,
В воде — что сталь, что сабли лезвие,
И ветви верб дрожат в зыбях у берегов
Плачевно, словно пасть без десен и зубов.

— Ноябрь во мгле моей души! —

Ноябрь, и ветер рычит в тиши,
И дождь внизу и с вышины,
И облака плывут в века
По всем путям моей души.

— Ноябрь во мгле моей души —
И зверь во мне рычит в тиши,
Бессмертный зверь моей души.

ИЗ КНИГИ «ПРИЗРАЧНЫЕ ДЕРЕВНИ»

ВЕТЕР

Вот, зыбля вереск вдоль дорог,
Ноябрьский ветер трубит в рог.

Вот ветер вереск шевелит,
Летит

По деревням и вдоль реки,
Дробится, рвется на куски, —
И дик и строг,
Над вересками трубит в рог.

И над колодцами бадьи,
Качаясь, жалобно звенят,
Кричат
Под ветром жалобы свои.
Под ветром ржавые бадьи
Скрипят,
В тупом и тусклом забытьи.

Ноябрьский ветер вдоль реки
Нешадно гонит лепестки
И листья желтые с берез;
Поля, где пробежал мороз,
Метлой железною метет;
Вороньи гнезда с веток рвет;
Зовет,
Трубя в свой рог,
Ноябрьский ветер, дик и строг.

Вот старой рамой
Стучит упрямо;
Вот в крыше стонет, словно просит,
И молкнет с яростью бессилья.
А там, над красным краем рва,
Большие мельничные крылья
Летающий ветер косят, косят, —
Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два!

Вкруг церкви низкой и убогой
На корточки присев, дома
Дрожат и шепчутся с тревогой,
И церковь вторит им сама.
Раскинув распятые руки,
Кресты на кладбище глухом
Кричат от нестерпимой муки
И наземь падают ничком.

Дик и строг,
Ноябрьский ветер трубит в рог
На перекрестке ста дорог!

Встречался ль вам
Ноябрьский ветер здесь и там,
Трубач, насильник и бродяга,
От стужи зол и пьян отвагой?
Видали ль вы, как нынче в ночь
Он с неба месяц бросил прочь,
Когда все скудное село
От ужаса изнемогло
И выло, как зверей ватага?

Слыхали ль вы, как дик и строг,
По верескам и вдоль дорог,
Ноябрьский ветер трубит в рог?

ДОЖДЬ

Как длинные нити, нетихнувший дождь,
Сквозь серое небо, и тучен и тощ,
Над квадратами луга, над кубами рощ
Струится нетихнувший дождь,
Томительный дождь,
Дождь...

Так он льет со вчера,
Так он мокрые тянет доскутья
С тверди серой и черной;
Терпеливый, упорный,
Так он льет со вчера
На перепутья,
Необорный.

По путям,
Что ведут от полей к городам,
По дорогам безмерно скривленным,
Шагом сонным,
Монотонным,
Утомленным,
Словно дроги путем похоронным,
Проезжают возы, в колеях,
До того без конца параллельных,
Что они исчезают в ночных небесах
И сливаются в даях предельных,
А вода,
Час за часом, струится всегда;
Плачут травы, деревья и дома
В бесконечности краткой истомы...

Перейдя за гнилые плотины,
Разливаются реки в долины
Серой пеной,

И плывет унесенное сено;
Ветер хлещет орешник и ивы;
И, хвостами в воде шевеля,
Стадо черных быков наполняет мычаньем поля;
Вечер близится; тени — пугливы,
И неслышно ложатся вдоль сумрачных рощ;
Твердь — все та же;
Так же льется нетихнувший дождь,
Долгий дождь,
Дождь густой, непрозрачный, как сажа.

Долгий дождь
Нити вытянул ровно и прямо;
Ткет ногтями своими упрямо,
Петля за петлей, стежок за стежком, —
Одеянье,
Закрывая в свой плащ каждый дом,
Каждое зданье,
В плащ изодранный, жалкий,
Что виснет тряпьем,
Как на палке...

Голубятня под крышей зубчатой;
Слуховое оконце, бумагой заткнутое грубо;
Водосточные трубы,
Что крестом стоят над коньком;
На мельницах крылья с заплатой;
Крест над родной колокольней, —
Под долгим дождем,
Непрерывным дождем,
Умирает зимой в агонии безмолвной...

О нетихнувший дождь,
В серых нитях, в морщинах, с большой бородой

Водяной!
О нетихнувший дождь
Старых стран,
Многодневный, седой, облеченный в туман!

КУЗНЕЦ

Где выезд в поле, где конец
Жилых домов, седой кузнец,
Старик угрюмый и громадный,
С тех пор, как, ярость затая,
Легла руда пол молот жадный,
С тех пор, как дым взошел нал горном,
Кует и правит лезвия
Терпенья — над огнем упорным...

И знают жители селенья,
Те, что поблизости живут
И в сжатых кулаках таят ожесточенье,
Зачем он принял этот труд
И что дает ему терпенье
Сдавить свой гневный крик в зубах!
А те, живущие в равнине, на полях,
Чьи тщетные слова — лай пред кустом без зверя,
То увлекаясь, то не веря,
Скрывают страх
И с недоверчивым вниманьем
Глядят в глаза, манящие молчаньем.

Кузнец стучит, старик кует,
За днями день, за годом год.

В свой горн он бросил крик проклятий
И гнев, глухой и вековой;
Холодный вождь безвестных ратей,
В свой горн, горящий, золотой,

Он бросил ярость, горесть, — злобы
И мятежа гудящий рев,
Чтоб дать им яркость молний, чтобы
Им дать закал стальных клинков.

Вот он,
Сомнений чужд и чуждый страха,
Склоненный над огнем, внезапно озарен,
И пламя перед ним, как ряд живых корон;
Вот, молот бросивши с размаха,
Его вздымает он, упрям и напряжен,
Свой молот, вольный и блестящий,
Свой молот, из руды творящий
Оружие побед,
Тех, что провидит он за далью лет!

Пред ним все виды зол, бесчисленных, всевозможных:
Голодным беднякам — подарки слов пустых,
Слепцы, ведущие уверенно других;
Желчь отвердевшая — в речах пророков ложных;
Над каждой мыслью — робости рога;
Пред справедливостью — из текстов баррикады;
Мощь рабских рук, не знающих награды
Ни в шуме городском, ни там, где спят луга;
Деревни, скошенные тенью,
Что падает серпом от сумрачных церквей;
И весь народ, привыкший к унижению,
Упавший ниц под нищетой своей,
Не мучимый раскаяньем напрасным,
Сжимающий клинок, что все же станет красным;
И право жить, и право быть собой —
В тюрьме законности, толкуемой неверно;
И пламя радости и нежности мужской,
Погасшее в руках морали лицемерной;
И отравляемый божественный родник,
В котором жадно пьет сознание человека; —

И после всяких клятв, и после всех улик,
Все то же вновь и вновь, доныне и от века!

Кузнец, в спокойствии немом,
Не верит хартиям, в которых
Вскрывают смысл иной потом.
В дни действий гибель — договоры!
И он молчит, давно молчит,
Мужскую гордость сжав зубами воли,
Неистовец из тех, кому две доли:
Он мертв падет иль победит!
Чего он хочет, хочет непреклонно,
Круша своим хотением гранит,
Сгибая им во тьме бездонной
Кривые мировых орбит.

И, слушая, как снова, снова
Струятся слезы всех сердец, —
Невозмутимый и суровый,
Седой кузнец,
Он верит пламенно, что злобы неизменной,
Глухих отчаяний безмерная волна,
К единому стремлением сильна.
Однажды повернет к иному времена
И золотой рычаг вселенной!
Что должно ждать с оружием в руках,
Когда родится Миг в чернеющих ночах!
Что должно подавлять преступный крик разлада,
Когда знамена ветер споров рвет;
Что меньше надо слов, но лучше слушать надо,
Чтоб Мига различить во мраке мерный ход;
Что знаменьям не быть ни на земле, ни в небе,
Что бог-спаситель к людям не сойдет,
Но что безмолвные возьмут свой жребий!

Он знает, что толпа, возвысив голос свой
(О, сила страшная, чей яркий луч далеко
Сверкает на челе торжественного Рока),
Вдруг выхватит безжалостной рукой
Какой-то новый мир из мрака и из крови,
И счастье вырастет, как на полях цветы,
И станет сущностью и жизни и мечты,
Все будет радостью, все будет вновь!
И ясно пред собой он видит эти дни,
Как если б, наконец, уже зажглись они:
Когда содружества простейшие уроки
Дадут народам — мир, а жизни — светлый строй;
Не будут люди, злобны и жестоки,
Как волки грызться меж собой;
Сойдет Любовь, чья благостная сила
Еще неведома в последних глубинах,
С надеждой к тем, кого судьба забыла;
И брешь пробьет в пузатых сундуках
(Где дремлет золото, хранимое напрасно)
День справедливости, несдержанной и красной;
Подвалы, тюрьмы, банки и дворцы
Исчезнут в дни, когда умрут гордыни;
И люди, лишь себя величащие ныне,
Себялюбивые слепцы,
Всем братьям расточат свои живые миги;
И будет жизнь людей проста, ясна;
Слова (их угадать еще не могут книги)
Все разъяснят, раскроют все до дна,
Что кажется теперь запутанным и темным;
Причастны Целому, с своим уделом скромным
Сроднятся слабые; и тайны вещества,
Быть может, явят тайну божества...

За днями день, за годом год
Кузнец стучит, старик кует
За гранью города, в тиши,

Как будто лезвия души,
Над красным горном наклонен,
Во глубь столетий смотрит он,
Кует, их светом озарен,
Предвидя сроков окончанье,
Клинки терпенья и молчанья.

ИЗ КНИГИ
«ОБЕЗУМЕВШИЕ СЕЛЕНИЯ»

МОР

Смерть себе спросила крови
Здесь, в трактире «Трех Гробов».

Смерть уходит, на прилавке
Бросив черный золотой.
Кто попросит о прибавке?

«Вам на траур и на свечи!»
Вышла, бросив золотой.

Смерть пошла, качая плечи,
Тихим шагом старика
Поискать духовника.

Вот кюре понес причастье,
Рядом — мальчик со звонком,
— Слишком поздно —
В дом,
Где уже царит несчастье,
Где уже закрыты окна.

Смерть себе спросила крови,
И теперь пьяна!

— «Матушка Смерть! пощади! пощади!
Пей свой стакан не до дна!
Матушка Смерть! погляди, погляди, —
Наша мольба на ладанке видна!
Матери мы, деревенские тетки,
Как бесконечные четки,
Тянемся мы, без надежд бормоча,
В рваных платках, костылями стуча.
Отражаются в старческом взоре
Годы и горе.
Мы — снедь для могильных червей,
Цель для косы твоей!»

Полно вам, старухи!
Смерть — пьяна.
Капли крови, как вина,
Ей забрызгали колет,
Покрывающий скелет.
Пьяные на просьбы глухи.
Голова ее качается,
На плечах, как шар, катается.
Даром денег Смерть не бросит,
Что-нибудь за деньги спросит
Здесь, в трактире «Трех Гробов»,
С бедняков!

— «Матушка Смерть! Это мы — ветераны
(Много нас, много! болят наши раны!),
Черные пни на просеке лесной,
Где ты когда-то гуляла с войной!
Знаем друг друга мы. В дыме и гуле
Ты нам была и видна и слышна:
Ты перед нами несла знамена,
Ядра катала и сыпала пули.
Гордая, строгая, виделась ты
На кругозоре гудящей мечты,

Быстро вставала на бой барабанов,
Первая в битву бросалась вперед...
Матушка Смерть! наша слава! оплот!
Выслушай нас, стариков ветеранов:
Нас огляди, сыновей не губя, —
Где малышам постоять за себя!»

Полно вам болтать без толку!
Разойдитесь втихомолку!
Что ей старый ваш костыль!
Смерть пьяна; сидит, качается,
Голова ее катается,
Как в дорожных рвах бутылъ.
Ей катать бы бочки крови
По полям зеленой нови!
Посидев у вас в тракторе,
Погоулять желает в мире,
Посреди людских племен,
Под случайностью знамен!

— «Матушка Смерть! Это — я, Богородица,
Видишь, в короне своей золотой,
Я на коленях стою пред тобой.
Я — из часовни, с горы, Богородица.
Вышла тебя попросить за село.
Тысячу лет уж прошло,
Как мою душу скорбящую,
Перед крестом предстоящую,
Горе, как меч беспощадный, прошло.
Матушка Смерть, это — я, Богородица.
Жителям здешним дала я обет
Их защищать в дни несчастья и бед...
Вот и тебя умолять мне приходится!»

Мать Божья! и на слове
Благодарны мы тебе.
Только Смерть — как не в себе,

Снова хочет крови!
В отуманенном сознании
У нее одно желание,
Смерть пьяна!
Тихих просьб она не слышит!
Надоели ей
Руки матерей.
Смерть пьяна и злобой дышит:
Злость ее несется вскачь,
Словно мяч,
Через мост,
Из деревни на погост.

— «Смерть! это я — Иисус и твой царь!
Создал я сам тебя, древнюю, встарь,
Чтоб исполнялся закон
Вещей и времен.
Мои пригвожденные руки
Благословили последние муки.
Смерть! Я был мертв и воскрес.
Я — манна с небес.
На землю сошел я смиренно
Вернуть заблудших овец.
Я — твой царь и отец,
Я — мир вселенной!»

Череп к огню наклоня,
Смерть сидит у огня,
Пьет за стаканом стакан и качается,
Полузакрывши глаза,
Улыбается.

У Господа гром, а у Смерти коса!

Хочет кто пить, так садись перед н е й , —
Всех угостит из бутылки своей,

Сколько вздумает, пей,
Лишь не проси за детей и внучат!
Каждый пьет на свой лад!

И Смерть пила, пила, пила;
Христос ушел, — она не встала,
Подобной дерзостью не мало
Смушая жителей села.
Но дни, и дни опять, и вновь
(Как будто позабыв все в мире)
Сидела Смерть у них в трактире
И в долг пила без счета кровь...

Потом однажды, утром, встала,
Худую клячу оседлала,
Ей на спину мешок взвалив,
Поехала в раздолье нив.

И к ней из каждой деревушки
Спешили матери-старушки,
Несли ей хлеба и вина,
Чтоб здесь не зажила она;
Несли ей хлеба иль свинины,
Большие, с грушами, корзины,
А детироем, — весь приход, —
Несли ей мед.

Смерть странствовала много, много
По всем дорогам,
Уже без гнева и не строго
Глядя вокруг себя: она
Была пьяна.

На ней был рыжий плащ, убогий,
С блестящей пряжкой на отлет,
И с перьями колпак двурогий,

И сапоги, как для болот.
Ее заезженная кляча,
По грязным рытвинам маяча,
Тащилась медленно вперед.
И толпы шли за ней в тревоге,
Следя, как медлит на дороге
Хмельной и дремлющий костяк,
Ведущий к далям, без зазрения,
Свой темный ужас. Но не всяк
Мог слышать терпкий запах тленья
И видеть, как, под платьем, ей
Впивался в сердце сонм червей.

ИЗ КНИГИ «ГОРОДА СО ЩУПАЛЬЦАМИ»

ВОССТАНИЕ

Улица быстрым потоком шагов,
Плеч, и рук, и голов,
Катится, в яростном шуме,
К мигу безумий,
Но вместе —
К свершеньям, к надеждам и к мести!
Улица грозная, улица красная,
Властная,
В золоте пышном заката,
В зареве ярком, окрасившем твердь.
Вся смерть
Встала в призывах набата.
Вся смерть,
Как ожившие дико мечты,
Встала в огнях и неистовых криках!
Головы чьи-то на пиках —
Словно на стеблях цветы.

Гулы глухие орудий
(Кашель чугунный безжалостных грудей)
Меряг печальные вздохи минут.
Циферблаты разбиты на башнях высоких,
Не льется на площади ровный их свет
(Словно очи столицы смежили ресницы);

Времени более нет
Для сердец опьяненных, жестоких,
Для толпы, свершающей суд!

Ярость великая, с пламенным ликом,
С радостным криком,
С кровью, бушующей в жилах,
Встала на груди камней.
Все она может! все она в силах!
Одно лишь мгновенье
Даст более ей,
Чем целых веков тяготенье.

Все, что мечталось когда-то,
Что гении, в песне крылатой,
Провидели в темной дали,
Что в души, как сев, западало,
Чем души, как весны, цвели,
Все встало,
В миге, смешавшем, как сплав:
Ненависть, силу, сознание прав!

Люди празднуют праздник кровавый,
Люди проходят и красны, и пьяны,
Люди проходят по мертвым телам.
Солдаты не знают, кто правый, не правый,
Стучат, как всегда, барабаны,
Но пальцы устали касаться к куркам.
Толпы народа проходят за толпами следом
Сквозь ужас, под зовами красных знамен,
К началу новых времен,
К победам.

Убивая, — творить, обновлять!
С ненасытной природой вонзая
Зубы в святую мишень!

В великий безумием день
Пряжу для жизни ликующей прясть
Иль жертвой строительной пасть!
Умирая, — творить, обновлять!

Горят мосты и строения
(Фасады из крови на фоне ночном),
И в глуби каналов дрожат отраженья —
На самое дно уходящим столбом!
Громадные тени больших колоколен
Лежат, как преграды, по светлой земле.
Огонь над домами, и весел и волен,
Кидает пригоршнями искры во мгле.
И черные дымы извивом могучим
Летят, вне себя, к окровавленным тучам.

Чу! залп!

Смерть, машинально беря на прицел,
Треском сухим разряжаемых ружей
Валит в кровавые лужи
Груды причудливо скорченных тел,
Стоявших, за миг, в полусне столбняковом.
Подавлена давка молчаньем свинцовым;
Трупы, изорваны залпом, простерты;
Обнажился, забыв о пристойности, мертвый;
Отблеск пожара на лицах у всех —
Словно чудовищный смех!

Колокол черный гудит в тишине.
В яростном бое, рыдая и споря,
Хриплые звуки плывут к вышине,
Как валы возмущенного моря.
Торопясь, задыхаясь, взывает набат
(Так сердца перебоем стучат!),

Но часто настойчивый звук,
Как голос, пресекающийся вдруг,
Бессильно смолкает,
И десяток пылающих рук
Кресты колокольни ласкает.

Чу! залп!

Толпа — перед входами сумрачных мэрий,
Державших весь город под тяжелой пятой,
Давивших порывы к мечте золотой,
Качает, ломает тяжелые двери;
Засовы трещат, и взлетают замки;
Отдают из утроб сундуки
Расчетные книги, счета и бумаги;
Их факелы лижут своим языком, —
И помнят о черном былом
Лишь черного дыма зигзаги!
Взвились над балконами красные флаги,
И, падая, кто-то руками раскинул
в пространстве пустом!

Своеволье и буйство везде.
Христос, в полумраке церковей,
Сорванный кем-то с распятия,
Повис на последнем гвозде,
Простирая бессильно объятья.
Лужами разлит елей;
Разбиты стекла Мадонн;
Оплеваны лики икон;
Пол убелен
Снегом причастья,
И по ним проложили не мало дорог
Следы святотатственных ног.

Самоцветные камни убийств и возмездий
Горят, словно взоры далеких созвездий.
Город сверкает,
Как исполин золотой, облаченный в багрец!
Город во мглу простирает
Свой, опоясанный пламенем ярким, венец!
Поля и селенья, безмолвно простерты,
Следят, не решаясь дышать,
Как некто во глуби громадной реторты
Жизнь и безумие хочет смешать,
Как дым, подымаясь из бури народной,
Метет небосвод безответно-холодный.

Убивая, твори, обновляй
Иль пади и умри!
Открой или руки о двери сломай, —
Ты, искра в сияньи встающей зари!
И что бы судьба ни судила, —
Сквозь сонмы веков нас влечет,
Спеша, задыхаясь, безвестная Сила,
Роковая Сила — вперед!

ИЗ КНИГИ «МЯТЕЖНЫЕ СИЛЫ»

ТРИБУН

Как мощных вязов грубые стволы,
Что деды берегли на площади соборной,
Стоит он между нас, надменный и упорный,
В себе связав безвестных сил узлы.

Ребенком вырос он на темных тротуарах
Предместья темного, изъеденного злом,
Где каждый человек с проклятьем был рабом,
И жил, как под замком, в тюрьме укладов старых.

В тяжелом воздухе мертвящего труда,
Меж лбов нахмуренных и спин, согбенных долей,
Где каждый день за стол садилась и нужда...
Все это — с коих пор! и это все — доколе!

И вдруг — его прыжок в шумящий мир борьбы,
Когда народ, сломав преграды вековые
И кулаки подняв на темный лик судьбы,
Брал приступом фасады золотые,
И, с гневом смешанный, шел дождь камней,
Гася по окнам отблески огней
И словно золотом усыпав мостовые!

И речь его, похожая на кровь,
На связку острых жал, разрозненных нещадно;
И гнев его, и ярость, и любовь,
То вместе свитые, то выющиеся жадно
Вокруг его идей!
И мысль его, неистово живая,
Вся огневая,
Вся слитая из воли и страстей!
И жест его, подобный вихрю бури,
В сердца бросающий мечты,
Как сев кровавый с высоты,
Как благодатный дождь с лазури!

И стал он королем торжественных безумий.
Всходил и всходит он, все выше, все вперед,
И мощь его растет, среди восторгов, в шуме,
И сам забыл он, где ее исход!
Весь мир как будто ждал, что встанет он; согласно
Трепещут все сердца с его улыбкой властной;
Он — ужас, гибель, злоба, смерть и кровь;
Он — мир, порядок, сила и любовь!
В нем тайна воли одинокой,
Кующей молоты великих дел, —
И, полон гордости, что знают дети Рока,
Он кровью вечности ее запечатлел!

И вот он у столба распутия мирового,
Где старые пути иным рассечены,
Которым ринутся искатели иного
К блистательной заре неведомой весны!
Он тем уже велик, что отдается страсти,
Не думая, всей девственной душой,
Что сам не знает он своей последней власти
И молний, вверенных ему судьбой!
Что он — загадка весь, с найденным решеньем,

Что с головы до пят он погружен в народ,
Что, целен и упрям, живет его движеньем
И с ним умрет.

И пусть, свершив свой путь, пройдя подобно грому,
Исчезнет он с земли в день празднеств иль стыда,
И пусть шумит за ним иль слава, иль вражда,
Пусть новый час принадлежит другому!
Не до конца его друзья пошли
На пламенный призыв пророческого слова.
И если он исчез, то — чтоб вернуться снова!
Его душа была в Грядущем, там, вдали,
В просторах моря золотого,
Отлив, пришедший в свой черед,
Ее на дне не погребет!
Его былая мощь — сверкает в Океане,
Как искр бессчетность на волнах,
И в плоть и в кровь вошел огонь его мечтаний,
И истины его — теперь во всех сердцах!

БАНКИР

Он — в кресле выцветшем, угрюмый, неизменный,
Немного сгорбленный; порывистым пером
Он пишет за своим заваленным столом,
Но мыслью он не здесь, — там, на краю вселенной!

Пред ним Батавия, Коломбо и Капштадт,
Индийский океан и гавани Китая,
Где корабли его, моря пересекая,
То с бурей борются, то к пристани спешат;

Пред ним те станции, что строил он в пустынях,
Те иглы рельс стальных, что он в песках провел,
По странам золота и драгоценных смол,
Где солнце властвует в просторах слишком синих;

Пред ним покорный круг фонтанов нефтяных,
И шахты темные его богатых копей,
И звон его контор, знакомых всей Европе,
Звон, что пьянит, зовет, живет в умах людских;

Пред ним властители народов, побежденных
Его влиянием: он может их рубеж
Расширить, иль стеснить, иль бросить их в мятеж
По прихоти своих расчетов потаенных;

Пред ним и та война, что в городах земных
Он, как король, ведет, без выстрелов и дыма,
Зубами мертвых цифр грызя неумоимо
Кровавые узлы загадок роковых.

И, в кресле выцветшем, угрюмый, неизменный,
Порывисто чертя узоры беглых строк,
Своим хотением он подчиняет Р о к , —
И белый ужас в рог трубит по всей вселенной!

О золото, что он собирает в разных странах;
И в городах, безумствующих, пьяных,
И в селах, изнывающих в труде,
И в свете солнечном, и в воздухе, — везде!
О золото крылатое, о золото парящее!
О золото несытое, жестокое и мстящее!
О золото лучистое, сквозь темный вихрь
горящее!

О золото живое,
Лукавое, глухое!
О золото, что порами нужды
Бессонно пьет земля с Востока до Заката!
О злато древнее, краса земной руды,
О вы, куски надежд и солнца! злато! злато!

Чем он владеет, он не знает.
Быть может, башни превышает
Гора накопленных монет!
Но все холодный, одинокий,
Он, как добычу долгих лет,
С какой бы радостью глубокой
Небес охране вековой
Доверил самый шар земной!

Толпа его клянет, и все ему покорны,
Ему завидуя. Стоит он, как мечта,
Всемирная алчба, сердец пожар упорный,
Сжигает души всех, его ж душа — пуста.
И если он кого обманет, что за дело!
Назавтра тот к нему стучится вновь несмело.
Его могущество, как ток нагорных вод,
С собой влечет в водоворот
(Как камни, листья и растенья)
Имущества, богатства, сбереженья
И малые гроши,
Которые в тиши
Копили бедняки в поту изнеможенья.

Так, подавляя все Ньягарами своей
Растущей силы, он, сутулый и угрюмый,
Над грудями счетов весь погруженный в думы,
Решает судьбы царств и участь королей.

В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Пусть тот, кто некогда, в неведомых веках,
Склонив в вечерний час над этой книгой вежды,
Моих забвенных строк встревожит давний прах,
Чтоб наших дней понять желанья и надежды,

О, пусть он ведаёт, с каким восторгом я,
Сквозь ярость и мятеж, борьбы внимая кличу,
Бросался в бой страстей и в буйство бытия,
Чтоб вынести из мук — Любовь, свою добычу!

Люблю свой острый мозг, огонь своих очей,
Стук сердца своего и кровь своих артерий,
Люблю себя и мир, хочу природе всей
И человечеству отдаться в полной мере!

Жить: это — взяв, отдать с весельем жизнь свою.
Со мною равны те, кто миром так же пьяны!
С бессонной жадностью пред жизнью я стою,
Стремлюсь в её самум, в её поток багряный!

Паденье и полет, величье и позор, —
Преображает все костер существования.
О, только б кругозор сменив на кругозор,
Всегда готовым быть на новые исканья!

Кто ищет, жаждет кто — сливает трепет свой
С мятущейся толпой, с таинственной вселенной.
Ум жаждет вечности, он дышит широтой,
И надобно любить, чтоб мыслить вдохновенно!

Безмерной Нежностью всеведение полно,
В ней — красота миров, в ней — зиждущая сила,
Причины тайные ей разгадать дано...
О ты, кого мечта в грядущем посетила,

Моих былых стихов тебе открыть ли смысл?
Я жду, что в дни твои пришедший мощный гений
Из неизбежного, из пасти мертвых числ
Исторгнет истину всемирных примирений!

ИЗ КНИГИ «ВЛАСТИТЕЛЬНЫЕ РИТМЫ»

ЗОЛОТО

Во мне живете вы, леса, потоки, горы,
И вы, о, также вы, громады городов,
В которых слышу я растущий вопль, который
Победно катится сквозь длинный ряд веков!

Безумны ваши сны, но ваши жесты четки;
Вы силу добыли из силы многих рас;
Вы мигов тысячи в единый миг короткий
Способны пережить, и ритм столетий — в вас!

О мертвецы, давно почившие в могилах!
Как вы должны дрожать в смущении, когда
Несутся мимо сел и кладбищей унылых,
Тревожа ваш покой, по рельсам поезда!

Вы век свой провели в глуши своих селений,
Не зная ничего вне ваших малых дел, —
И целый новый мир волнений и хотений
Врывается, гремя, в ваш дремлющий предел:
То мчится мимо вас, бросая вкруг зарницы,
Жизнь современная к столице от столицы!

И наши города, на берегах морей
Иль на равнинах, ждут — тех поездов. Сигналы
Сияют на путях, и радостно вокзалы
Встречают дальний блеск пылающих очей!
Смыкаясь днем, раскрыты ночью шире,
Вокзалы, в грохоте, свершают тяжкий труд,
И, торопясь, всю нашу жизнь влекут
На вечную борьбу, к победам новым в мире.

Вот набережной мир. Вот запыленный док,
Где молоты, компасы и лекалы,
Где плечи ворота, рычаг и мощный блок,
По знаку мастера, передвигают скалы.
Вот тачек малых скрип по старой мостовой.
Вот у ворот в грязи оттиснуты копыта.
Вот смелого моста пролет над головой.
Вот оборот цепей, грохочущих сердито.
Вот бронза темных тел малайцев, говор их
Гортанный, песен крик, и диких, и веселых,
Их труд, мельканье их, проворных и нагих,
Вкруг легких крейсеров и вкруг габар тяжелых.

Вот башни звучные, где слышен шум воды;
Вот цепь пакгаузов, направо и налево;
Вот элеваторов суровые ряды,
Сопя, вбирающих зерно в пустое чрево.
Вот баков нефтяных громады в стороне,
Заблиндированы, спокойны и угрюмы;
Вот стимеров семья, где сложен груз на дне,
Где груды ящиков едва вмещают трюмы.
Меж мачт колеблемых так густ всходящий дым,
Что солнца яркий диск на небесах незрим.
И кажется порой, что под землею где-то
Сокрыт упор великий мощи этой.

О золото! о дождь, струящий неуклонно
Свои дары на мир! Данаи яркий сон!
Огнем и звездами горящий небосклон,
Сходящий вечером к земле изнеможенной!
О буря золота, — восторг в твоих огнях!
Ты — Власть, о золото! о золото, ты — Слово!
Ты — сок, взбегающий до маковки, и снова
Стремящийся к корням, во всех земных лесах!
О золото! ты — связь народов! На мгновенье,
Нарушив их союз, ты их бросаешь в бой, —
Но ты, в конце концов, залог их единенья,
Затем, что на тебе основан жизни строй!

ИЗ ПОЗДНИХ КНИГ

К РУССКИМ СТОЛИЦАМ

Вы, двух материков столицы мировые,
Москва и Петроград, Иркутск и Томск! Чредой
Вы украшаетесь короной ледяной
Твоей, о дивная и белая Россия!

В душе ужаленной у вас всегда — порыв!
Вы жертву цените, и сколько раз пред нею
Благоговели вы, колени преклонив,
Готовы умереть в молчаньи за идею!

Охотно делите вы горький хлеб скорбей,
Чтоб человечество возрастало в вас, страдая;
Сердца вам пепелит снег, жарче всех огней,
И тайно разлита в них чистота святая.

Себе готовите в веках вы торжество,
Но иначе, чем Рим и Карфаген. От века
Еще вы верите поныне в божество,
Но раньше верите, с надеждой, — в человека!

Вы — в пламени всегда, дрожащем на лету;
Вы — сострадание почтили культом вечным!
И до безумия возносите мечту —
Быть праведным ко всем и строго-человечным!

**ФРАНЦУЗСКИЕ ЛИРИКИ
XIX ВЕКА**

ВИКТОР ГЮГО
(1802—1885)

* * *

Наш век двухлетним был; сменялась Римом Спарта:
Уже Наполеон сквозил из Бонапарта,
И маску узкую, что Первый Консул взял,
Лик императора порою разрывал.
В старинном городке испанском, в Безансоне,
Заброшен, как зерно, на вскрытом ветру склоне,
Кровь лотарингскую с бретонской в теле слив,
Явился в свет тогда младенец: мал, чуть жив.
Без голоса, почти и слеп и нем — химера! —
Всем чужд, он был спасен лишь материнской верой.
Для шеи тоненькой и гибкой, словно хмель,
Казалось, нужен фоб, но гроб стал — колыбель!
Все думали, что смерть стоит к ребенку близко,
Что завтра ж вычеркнет его судьба из списка,
Но то был я. Поздней скажу, быть может, вам,
Как много сил, забот, любви и к небесам
Молитв потратила над сыном осужденным
Мать, так что ею я два раза стал рожденным!
О ангел! нас троих тебе судьба дала, —
И ты на всех равно свою любовь лила.

Да! Матери любовь никто забыть не может;
Она — чудесный хлеб, что делит бог и множит,
Всегда накрытый стол в родном дому: она
Дает по доле всем и каждому — сполна!

Быть может, расскажу я также в вечер мгlistый,
Когда свет лампы льнет к чернильнице речистой,
Как величавый Рок, Рок славы роковой,
Что императора стопы влекли с собой, —
Меня, безвольного, схватив дыханьем жадным,
Мой детский челн бросал всем ветрам беспощадным:
Так, если аквилон ударит в лоно вод,
Взмущенный океан, гремя, равно несет —
Трехмачтовый корабль, что борется мятежно,
И листик, сорванный грозой с ольхи прибрежной.

Еще я — молод, но, испытанный не раз,
Воспоминаний я большой собрал запас,
И можно прочесть немало старой были
В морщинах, что на лбу мне мысли начертили.
Ах, может быть, старик, без пламени в очах,
На грани всех надежд клонящийся во прах,
Смутился б, увидав, как в пропасти глубокой,
Весь мир моей души угрюмо-одинокой,
Все, что я выстрадал, к чему стремился я
И что солгало мне в пучинах бытия, —
Те золотые дни, что не вернуться боле,
Любовь, труды, печаль моей недолгой воли;
И хоть грядущее еще открыто мне,
Но книга жизни мной исписана вполне.

И если все ж порой мои взлетают грозы
И песни реют вновь над миром нашей прозы;
И если нравится мне в жалающий роман
Влагать свою тоску и боль сердечных ран,
Живой фантазией свободно зыбить сцену,
Героев выводить, — одних другим на смену, —
Что голосом моим, пред избранным кружком,
О жизни говорят, такой же, как кругом;
Да, если мысль моя — горн, скрытый темной тучей,
Бросает медный стих, дымящийся и жгучий,

Что влит в певучий ритм (таинственной убор!)
И в пламенной строфе взлетает на простор, —
То это потому, что жизнь, любовь, смерть, слава,
Волна, бегущая вслед за волной лукаво,
Все ветры, все лучи, и в буре, и в тиши,
Тревожат явственно кристалл моей души,
И, эхо звучное, в ответ из центра мира,
Она, дрожа, звенит на голоса с эфира!

Но миновали дни унынья навсегда:
Мне ведом — путь за мной; бог весть, — несусь куда.
Гроза партийных распрь, с их огненным дыханьем,
Безвредно опалив, промчалась над сознанием;
Следа нечистого в нем не осталось бурь,
Нет грязных выбросков, пятнающих лазурь.
Я прежде пел; теперь внемлю и созерцаю;
Храм императору во мраке воздвигаю,
Свободу, за ее плод и цветы любя.
Трон — за его права, за беды — короля,
И твердо помню я. чтоб им служить вернее,
Что мой отец — солдат, а мать — дитя Вандей!

ПИСАНО В ИЗГНАНИИ

Не тот, кто прав, счастлив; не тот, кто прав, и властен!
Герой всегда ль угрюм? всегда ли раб несчастен?
Ужели у судьбы всего один закон:
Все то же колесо, и тот же Иксион?
О! кто б ты ни был, Бог, взыскуемый от века,
Но если тщетна скорбь, но если человека
Вся жизнь не более как в вихре бурь зерно, —
Твое величие отринуть нам дано!
Мы справедливости хотим душой нетленной,
Как равновесия ум ищет во вселенной.
Мне нужно твердо знать, что в бездне, где со тьмой

Слилось сияние, — есть Правда надо мной.
Хочу возмездия! пусть упадет мщенье
Не на невинного, — на клубы преступленья!
Нет! торжествующий мне Каин нестерпим!
Когда царит Порок и гнется все пред ним,
Хочу, чтоб с неба гром ударил, чтоб, синяя,
Вонзилась молния в надменного Атрея!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА

Бывало, города смирял ты без усилья.
Мадрид и Ратисбон, Варшава и Севилья,
Неаполь пламенный и Вена пред тобой,
О Цезарь! падали. Ты лишь наморщишь брови,
И ступит гвардия: при кликах славословий
Победой кончен бой!

Одним сражением, как роковой десницей,
Ты повергал во прах столицу за столицей.
Шум Иены прогремел, — и гордую главу
Склонил Берлин; вели тебя неутомимо
Аркола в Мانتую, Маренго — в стены Рима,
Бородино — в Москву!

Завоевать Париж — труднее! град священный
Победы требовал великой, несравненной.
Блистательная цель усилий крайних, он
Тогда лишь уступил, когда венец лавровый
Вновь увенчал тебя, как знак победы новой, —
В стране, где Смерти трон.

Чтоб покорить Париж, ты должен был из гроба
Завоевать умы, торжествовать над злобой,
Европы сделаться и сердцем и душой,
И перед миром встать, в своем величьи строгом,
Каким-то призраком, почти что полубогом,
Иль тенью неземной!

О солнце наших дней! Все звезды вихрем света
Ты должен был затмить: сиянье Лафайэта
И пламя Мирабо! и, разогнав туман,
Из отдаленных стран подняться величаво,
Где славу вечную смешал с твоею славой
Безмерный океан.

ВЕЧЕР

Полнеба сумраком объято.
Присев у двери, как всегда,
Любуюсь я, как луч заката
Святит последний час труда.

Там, где поля омыты мглами, —
Лохмотья старика, смущен,
Я вижу: в борозды горстями
Грядущий сев бросает он.

Высоким черным очертаньем
Царя над глубиной полей,
С каким спокойным упованьем
Он ждет благого бега дней:

Идет средь сумрака пустого,
Вперед, назад; найдя между,
Бросает горсть, уходит снова...
Свидетель темный, я слежу.

И тень, раскидывая крылья,
Величит образ старика,
И кажется, что без усилья
До звезд взнеслась его рука.

НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ

Вот вечер близится, час молчаливый, мирный.
Сверкает дельта солнц в безбрежности эфирной
И бога имени заглавный чертит знак;
Венера, бледная, блестит сквозь полумрак.
Вязанку хвороста таща в руках сухого,
Мечтает дровосек, как у огня живого
Веселый котелок согреет свой живот,
И радостно спешит. Спит птица. Скот идет.
Ослы прошли домой под ношей необъятной.
Потом смолкает все, и только, еле внятно,
Лепечут стебли трав и дикого овса.
Все стало — силуэт: дома, холмы, леса.
Там черные кусты медлительно трепещут
Под ветром ночи; там, в тени, озера блещут.
И лилии болот, цветы волшебных фей,
И ирисов цветы, и стебельки нимфей,
Склоняясь и дрожа, зрачками глаз прекрасных
Глядятся в глубь зеркал таинственных и явных.

СОЛОМОН

Я царь, ниспосланный на подвиг роковой.
Я воздвигаю храм, я сокрушаю грады.
Харос, мой верный вождь, Хирам, строитель мой,
 Моим веленьям рады.

Один — мой острый меч, другой — мой тяжкий млат
Повелеваю — я, а им и труд и думы.
Но выше грез моих веки не взлетят
 Ливийские самумы.

Я сын греха, но полн, — как кубок мой вином, —
Безмерной мудростью, вещаю правду с трона:
И дьявол выбрал бы меж ним и божеством
 Судьею Соломона.

Я царь среди царей, среди певцов певец.
Владыка, — страшен я, слагатель песен, — сладок.
Я славой ужасну и увлеку, как жрец,
 В немую тьму загадок.

Виденья были мне: я зрел возженья слов
На дерзостном пиру, под взмахом дивной длани.
До глубины постиг всю суету веков, —
 Богатства, силы, знаний.

Так. Я велик во всем. Стою я, как кумир;
Таинственен, как сад, кругом запечатленный.
Отныне мне всегда дивиться будет мир, —
 Я вечен во вселенной.

И если может бог лишить меня венца
И вырвать скиптр из рук, стрельцов низвергнуть с башен,
То властен ли и он разъединять сердца?
 — Мне час такой не страшен!

О дева юная! цветок саронских гор!
Как месяц в лоне вод, твой детский лик чудесен!
И в сердце ты всегда, — так птицам темный бор
 Дает приют для песен.

МАРСЕЛИНА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР
(1785—1859)

ПИСЬМО ЖЕНЩИНЫ

Я знаю, женщинам не следует писать;
И вот пишу посланье,
Чтоб ты в моей душе мог с ясностью читать,
Как в день при расставаньи.

Все, все, что я скажу, знакомо для тебя
От слова и до слова,
Но что и в сотый раз повторено любя,
Все, как и в первый, ново!

Пусть счастье на тебя навеет голос мой,
А я — ждать счастья буду.
Осталось мне одно: стремиться за тобой
Мечтой крылатой всюду.

И если ласточка твоих одежд края
Затронет, — оглянуться
Поторопись и верь: то попыталась я
Твоей руки коснуться.

Да, ты ушел, и все уходит в свой черед:
Лучи, цветы, мгновенья, —
И лето отошло, и осень настает,
И я полна томленья.

Но если дни пришли, когда остались нам
Лишь слезы и надежды, —
Поделим! Я возьму все слезы и отдам
Тебе в удел — надежды!

Я не хочу, чтоб ты страдал хоть миг один,
Хотя б тоской разлуки!
За счастье твое молясь, мой господин,
Я подымаю руки!

АЛЬФОНС ЛАМАРТИН
(1790—1869)

ЗАПАД

И море бурное стихало, как в сосуде
Кипящая вода над гаснущим огнем,
И лобызал отлив скалы прибрежной груди,
Чтоб, возвратясь в предел, забылись воды сном.

Бродячая звезда, скользя за облаками,
Бросала на валы свой отблеск без лучей,
Но этот свет, порой, терялся за волнами,
Как тонущий корабль, вдали, среди зыбей.

И небосклон бледнел; и ветер утомленный
Смолкал меж парусов, недвижимый и немой:
И тени ширились, угрюмы, непреклонны,
На небе и земле скрывая все собой.

И в глубине души, бледнеющей, как море,
Все звуки здешние смолкали с шумом дня,
И кто-то там, во мне, как в мире на просторе,
Рыдал, благословляя, молился за меня.

И лишь на Западе, как в пламенной пещере,
Еще таился свет, как золотой костер,
И облако в огне сияло у преддверий,
Как будто некий вождь туда свой стяг простер.

И тени первые, и облака, и воды,
Как будто бы неслись к той бездне золотой.
Казалось: целый мир, все то, в чем жизнь природы,
Боялось умереть, теряя свет дневной.

И прахи вечера, подхваченные в поле,
И пена белая, руно бегущих волн,
Летели в тот огонь: и взгляд мой, против воли,
Стремился в тот предел, слезами грусти полн!

И исчезало все; тревожный и бессильный,
Как темный горизонт, я был без дум, без слов...
И вдруг в моей душе встал памятник могильный,
Возникла мысль одна, как сфинкс среди песков.

О свет, где ты теперь? Шар солнца огнецветный,
Куда ты канул? Ночь, и облака, и дым,
И пена волн, и прах, и ты, мой взор заветный,
Куда летите вы, куда мы все летим?

К тебе, кто все объял! к тебе, пред кем мгновенно
Все бытие звезды! к тебе, в ком ночь и день!
В ком брег и океан, прилив, отлив вселенной!
В ком все, что в мире есть, исчезнет словно тень!

АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ
(1797—1863)

ПРИРОДА

(Отрывок)

Природа говорит: «Я — только сцена мира,
Театр бесстрастный я — комедии людской.
Пол изумрудовый, колонны из порфира
Не человеческой сотворены рукой.
Не вижу ваших бед, не слышу ваших споров,
Не чувствую шагов мелькающих актеров,
И тщетно зрителей искать вам пред собой!

«Стремлю живой поток, исполнена презренья,
Я мимо тысячи роящихся племен.
Не отличаю я — их прах и их владенья;
Народы я ношу, не зная их имен.
Мне говорят: ты — мать, но я — для вас могила.
Не помню я, кого в день гнева поглотила,
Не внемлю, кто мне гимн поет во мгле времен!

«Уж я была — до вас — прекрасной и нетленной.
Под ветром вечности, не смея отдохнуть,
Я шла по небесам, и маятник вселенной,
Качаясь, отмечал мой неизбежный путь.
И после вас, опять чиста, благоуханна,
В святом безмолвии, пойду я неустанно,
Высоко вознеся свое чело и грудь!»

ОГЮСТ БАРБЬЕ (1805—1882)

КУМИР

Сын Корсики, с челом высоким! как прекрасна, —

Когда сиял над нею мессидор, —

Была вся Франция! мятежна, неподвластна,

Как конь, не знавший ни узды, ни, шпор;

Конь необъезженный, конь, чи бока крутые

Еще дымились кровью королей,

Но гордый тем, что он копытом бьет впервые

Свободные луга земли своей!

Еще ничья рука, знак рабства выжигая,

На круп его широкий не легла;

Еще ничья рука, надменная, чужая,

Не возлагала на него седла;

И, с гривой девственной, в глазах с живым сверканьем,

Летя вперед, как на веселый пир,

Галопом бешеным, — своим могучим ржаньем

Он ужас наводил на целый мир.

Но ты предстал. Его заметив лет ретивый,

Поняв его неукротимый пыл,

Кентавр неистовый, вцепившись в космы гривы,

Со шпорами ты на него вскочил.

И, так как он любил раскаты бури бранной,
Дым пороха и барабанный бой, —
Для бега ты ему дал край земли пространный
И для забав — гул, поднятый войной.

И вот — ни отдыха, ни дремы, ни предела!
Всегда — поля, всегда — жестокий труд!
Он должен был всегда крошить людское тело,
Вокруг него всегда — кровавый пруд!

Пятнадцать лет, носясь, как вихорь необорный,
Ряд поколений бил копытом он,
Пятнадцать лет, в пару, твоей узде покорный,
Он тяжело наступал на грудь племен.

И наконец, устав — всегда скакать тревожно,
Не видеть отдыха, не ведать сна,
Давить вселенную и, словно прах дорожный,
Взметать вокруг земные племена —

Разбитый на ноги, бессильный, запаленный,
Почти что падая, пощады ждал
От корсиканца он. Но, всадник непреклонный
Глухой палач, ты столам не внимал.

Еще неистовой ты сжал свои колена,
Чтоб заглушить его горячий хрип;
Ты повернул мундштук в губах, где била пена,
Ему железом зубы перешиб.

И снова взнесся он, — но в день жестокой сечи,
Свою узду напрасно теребя,
Он, умирая, пал на ложе из картечи,
И, падая, он раздавил тебя.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
(1811—1872)

ПЕРВАЯ УЛЫБКА ВЕСНЫ

Пока заботой повседневной
Мы заняты и смущены, —
Смеясь под ливнем, Март безгневный
Готовит таинства весны.

Выходит на лужок зеленый
И, притаясь, когда все спит,
Подснежников белит бутоны
И одуванчики желтит.

На все затен пудры белой
Ему, проказнику, не жаль:
То яблоню осыплет смело,
То в иней уберет миндаль.

Природа спит, дыша устало,
Под долгий, скучный шум дождей,
А он, смеясь, на одеяло
Бутоны роз бросает ей!

Вбегая в лес гостеприимный,
Фиалки сеет он, а сам
Насвистывает тихо гимны,
Подсказывая их дроздам.

Он у ключа, где пьют олени, —
Пугливо дали оглядев, —
Выращивает, чуждый лени,
Прозрачных ландышей посев.

И меж ползучей повилики
Сажает пышные кусты
Лесной, пахучей земляники,
Чтоб летом веселилась ты!

И, видя, что в лесу и в поле
Его работа свершена,
Без ропота, покорный доле,
Он шепчет: «Приходи, весна!»

ИСКУССТВО

Да, тем творение прекрасней,
Чем нами взятый материал
Нам неподвластной:
Стих, мрамор, сардоникс, металл.

Не надо хитростей мишурных,
Но прямо чтоб идти, ремни
Ты на котурнах
У Музы ту же затяни!

Прочь, ритм знакомый и удобный,
Как чересчур большой башмак,
Сегодня модный,
Что носит и бросает всяк!

Ваятель! глину, что покорно
Под пальцем уступает, кинь,
Когда упорно
Мечты летят в святую синь.

Борись с каррарской глыбой, меткой
Рукою крепкий парос бей,
 Чтоб камень редкий
Хранил изгиб черты твоей.

Доверься бронзе несравненной
Из Сиракуз, в которой лик
 Век неизменный
Живет, прекрасен и велик.

Пусть, осторожный соглядатай,
Отыщет верный твой резец
 В куске агата
Лик Феба и его венец.

Стремись, Художник, к высшей цели:
Сменить тебе не будет жаль
 Блеск акварели
На печь, где плавится эмаль.

Твори сирен, — род синеокий, —
Свивающих на сто ладов
 Свой хвост широкий,
Чудовищ золотых гербов;

Рисуй тройное озаренье
Над ликом Девы и Христа
 И возвышенья
Голгофы с знаменем креста.

Проходит все. Одно искусство
Творить способно навсегда.
 Так мрамор бюста
Переживает города.

Медаль простая, что находит
Плуг пахаря средь пустыря,
 Опять выводит
На свет забытого царя.

И сами боги умирают,
Но строки царственные строф, —
 Те пребывают
Нетленными в ряду веков.

Ваяй, шлифуй, чекань медали!
Твои витающие сны
 На вечной стали
Да будут запечатлены!

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ (1818—1894)

СЛОНЫ

Краснеющий песок, пылающий от века,
Как мертвый океан, на древнем ложе спит;
Волнообразными извивами закрыт
Медяный горизонт: там область Человека.

Ни звука; все молчит. Пресыщенные львы
Попрятались в горах лениво, по пещерам;
И близ высоких пальм, так памятных пантерам,
Жирафы воду пьют и мнут ковер травы.

И птица не мелькнет, прорезав воздух сонный,
В котором царствует диск солнца, весь в огне.
Лишь иногда боа, разнеженный во сне
Лучами жгучими, блеснет спиной червленой.

Но вот, пока все спит под твердью огневой,
В глухой пустынности, — пески, холмы, овраги, —
Громадные слоны, неспешные бродяги,
Бредут среди песков к своей стране родной.

Как скалы темные на сини вырастая,
Они идут вперед, взметая красный прах,
И чтоб не утратить свой верный путь в песках,
Уверенной пятой уступы дюн ломая.

Вожак испытанный идет вперед. Как ствол
Столетний дерева, его в морщинах кожа,
Его спина на склон большой горы похожа,
Его спокойный шаг неспешен и тяжел.

Не медля, не спеша, как патриарх любимый,
Он к цели избранной товарищей ведет;
И, длинной рытвиной свой означая ход,
Идут за вожаком гиганты пилигримы.

Их сжаты хоботы меж двух клыков больших;
Их уши подняты, но их глаза закрыты...
Роями жадными вокруг жужжат москиты,
Летающие на дым от испарений их.

Но что им трудный путь, что голод, жажда, раны,
Что эти жгучие, как пламя, небеса!
В пути им грезятся далекие леса
И финиковых пальм покинутые страны.

Родимая земля! в водах большой реки
Там грузно плавают, с мычаньем бегемоты,
Туда, на водопой, в час зноя и дремоты,
Спускались и они, ломая тростники...

И вот, с неспешностью и полны упования,
Как черная черта на фоне золотом,
Слоны идут... И вновь недвижно все кругом,
Едва в пустой дали их гаснут очертанья.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

(1821—1867)

КРАСОТА

О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!
И грудь моя, что всех погубит чередой,
Сердца художников томит любовью властно,
Подобной веществу, предвечной и немой.

В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела и холодна, как снег;
Презрев движение, любуюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек.

Я — строгий образец для гордых изваяний,
И, с тщетной жаждою насытить глад мечтаний,
Поэты предо мной склоняются во прах.

Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных,
Сиянье вечности в моих глазах бессонных,
Где все прекраснее, как в чистых зеркалах.

НЕПОКОРНЫЙ

Крылатый серафим, упав с лазури ясной
Орлом на грешника, схватив его, кланя,
Трясет за волосы и говорит: «Несчастный!
Я — добрый ангел твой! узнал ли ты меня?»

«Ты должен всех любить любовью неизменной:
Злодеев, немощных, глупцов и горбунов,
Чтоб милосердием ты мог соткать смиренно
Торжественный ковер для господ шагов!

«Пока в твоей душе есть страсти хоть немного,
Зажги свою любовь на пламеннике бога,
Как слабый луч прильни к предвечному лучу!»

И ангел, грешника терзая беспощадно,
Разит несчастного своей рукой громадной,
Но отвечает тот упорно: «Не хочу!»

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер сладостный, всех преступлений друг.
Таясь, он близится, как сообщник; вокруг
Смыкает тихо ночь и завесы и двери,
И люди, торопясь, становятся — как звери!
О вечер, милый брат, твоя желанна тень
Тому, кто мог сказать, не обманув: «Весь день
Работал нынче я». — Дашь ты утешенья
Тому, чей жадный ум томится от мученья;
Ты, как рабочему, бредущему уснуть,
Дашь мыслителю возможность отдохнуть...
Но злые демоны, раскрыв слепые очи,
Проснувшись, как дельцы, — летают в сфере ночи,
Толкаясь крыльями у ставен и дверей.
И проституция вздымает меж огней,
Дрожащих на ветру, свой светоч ядовитый...
Как в муравейнике все выходы открыты;
И как коварный враг, который мраку рад,
Повсюду тайный путь творит себе Разврат.
Он к груди города припав, неумоимо
Ее сосет. — Меж тем восходят клубы дыма

Из труб над кухнями; доносится порой
Театра тьяканье, оркестра рев глухой.
В притонах для игры уже давно засели
Во фраках шулера, среди ночных камелий...
И скоро в темноте обыкновенный вор
Пойдет на промысл свой — ломать замки контор
И кассы раскрывать, — чтоб можно было снова
Своей любовнице дать щегольнуть обновой.
Замри, моя душа, в тяжелый этот час!
Весь этот дикий бред пусть не дойдет до нас!
То — час, когда больных томительнее муки;
Берет за горло их глухая ночь; разлуки
Со всем, что в мире есть, приходит черед.
Больницы полнятся их стонами. — О да!
Не всем им суждено и завтра встретить взглядом
Благоуханный суп, с своей подругой рядом!
А впрочем, многие вовеки, может быть,
Не знали очага, не начинали жить!

ЛЕОН ДЪЕРКС
(1838—1912)

ЛАЗАРЬ

И мертвый Лазарь встал на Иисусов глас,
Весь бледный, встал во тьме своей глухой гробницы
И вышел вон, дрожа, не подымая глаз,
Один и строг, пошел по улицам столицы.

Пошел, один и строг, весь в саване, вперед,
И стал бродить с тех пор, как бы ища кого-то,
Встречая на пути приниженный народ
И сталкиваясь вновь то с торгом, то с заботой.

Был бледен лоб его, как лоб у мертвеца,
И не было огня в его глазах; темнели
Его зрачки, храня блаженство без конца,
Которое они, за гранью дней, узрели.

Качаясь, проходил он, как дитя; угрюм,
Как сумасшедший. Все пред мертвым расступались;
И с ним не говорил никто. Исполнен дум,
Он был подобен тем, кто в бездне задыхались.

Пустые ропоты земного бытия
Он воспринять не мог; мечтою несказанной
Охвачен, тайну тайн в своей душе тая,
По миру проходил он, одинокий, странный.

По временам дрожал, как в лихорадке, он;
Как будто, чтоб сказать, вдруг простирал он руку, —
Но неземным перстом был голос загражден,
И он молчал, в очах тая немую муку.

И все в Вифании, ребенок и старик,
Боялися его; он, одинокий, строгий,
Внушал всем смутный страх; его завидя лик
Таинственный, смельчак спешил сойти с дороги.

А! кто расскажет нам страданья долгих дней
Того, кто к нам пришел из сумрака могилы!
Кто дважды жизнь познал, влача среди полей
На бедрах саван свой торжественно-унылый!

Мертвец, изведавший червей укусы! ты
Был в силах ли принять заботы жизни брэнной!
Ты, приносивший нам из вечной темноты
То знанье, что вовек запрещено для вселенной!

Лишь только отдала свою добычу смерть,
Ты странной тенью стал, сын непонятной доли!
И шел ты меж людьми, смотря без слез на твердь,
Не ведая в душе ни радости, ни боли.

Живя вторично, ты, бесчувствен, мрачен, нем,
Оставил меж людьми одно воспоминанье
Бесследное. Ужель ты дважды жил затем,
Чтоб дважды увидеть бессмертное сиянье?

О, сколько раз в часы, когда ложится ночь,
Вдали от всех живых, в вьсь руки простирая,
Ты к ангелу взывал, кто нас уводит прочь
Из жизни сумрачной к великим далям рая!

Как часто ты бродил по кладбищам пустым,
Один и строг, в тоске бесплодного томленья,
Завидуя тому, под камнем гробовым
Кто безмятежно спит, не ведав воскресенья.

ХОСЕ МАРИА ДЕ ЗРЕДИА

(1842—1905)

ТРЕББИЯ

На высях темных гор зажегся день багровый.
Весь лагерь на ногах. Кругом, со всех сторон,
Призывных медных труб несется ясный стон;
Сыны Нумидии лететь на бой готовы.

Напрасно убеждал спокойный Сципион,
И вздулась Треббия, и ветер дул, суровый;
Семпроний-консул, горд — своей победой новой,
Дал знак сражения. Взнеслись орлы знамен.

На жертву преданы безжалостного мщенья,
Пылают вдалеке инсубрские селенья.
Порой доносится протяжный рев слонов.

И, стоя под мостом, один, как скромный воин,
Внимает Ганнибал, уверен и спокоен,
Глухому топоту бесчисленных шагов.

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ
(1842—1898)

ИЗ ПОЭМЫ «ИРОДИАДА»

(Отрывок)

Люблю проклятие быть девственной! меж грез
Жить ужасом своих распущенных волос!
Как зверь нетронутый, на девичьей постели,
Вновь ведать, вечером, на бесполезном теле,
Твое мерцание, твой бледный, хладный свет,
О ночь, владычица молчания и планет!
О вечная сестра! Ты царствуешь, нагая,
От непорочности сгорая, умирая...
К тебе стремления восходят; я — как ты,
И странной ясностью мои сквозят мечты!
Я вновь одна в моей стране однообразной,
А все вокруг меня исполнено соблазна,
Впивая в зеркале, в его тиши немой, —
Со взором пламенным, алмазным — облик мой.

АРТЮР РЕМБО

(1854—1891)

ИЩУЩИЕ В ВОЛОСАХ

Дитя, когда ты полн мучений бледно-красных,
И вокруг витает рой бесформенных теней, —
К тебе склоняется чета сестер прекрасных,
И руки тянутся с мерцанием ногтей.

Они ведут тебя к окну, где голубые
Теченья воздуха купают купы роз,
И пальцы тонкие, прелестные и злые,
Скользят с неспешностью в кудрях твоих волос.

Ты слышишь, как поет их робкое дыханье,
Лаская запахом и меда и весны;
В него врывается порою свист: желанье
Лобзания иль звук проглоченной слюны?

Ты слышишь, как стучат их черные ресницы,
Благоуханные; по звуку узнаешь,
Когда в неясной мгле всей этой небылицы,
Под ногтем царственным вдруг громко хрустнет вошь.

И вот встает в тебе вино беспечной лени,
Как стон гармоники; тебе легко дремать
Под лаской двух сестер; а в сердце, в быстрой смене,
То гаснет, то горит желание рыдать.

ЖЮЛЬ ЛАФОРГ
(1860—1887)

**ЖАЛОБА
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЛУНЕ**

Что за полная луна!
Эй, скажи, ты чем полна?

Зорю слышно из казарм,
Вдалеке прошел жандарм.

Из окна рояль поет,
Переходит площадь кот.

Город спит, и тих и горд,
Вот, последний взяв аккорд,

Прохрипел рояль, как зверь.
Что б за час мог быть теперь?

Ты, луна — среди пустынь;
Я — один... Сказать: аминь?

О беспечная луна!
Изо всех ты стран видна.

На Миссури ты глядишь,
И на праздничный Париж,

И на полюс, и на все...
Что ж! ты видишь и ее,

Там, в экспрессе, у окна?
Ах, счастливая луна, —

Это, после свадьбы, — с ней
Он теперь летит в Вевей...

Ну, пропал бы я совсем,
Если б страсть моих поэм

Приняла она всерьез!
Будем жить, довольно грез!..

Ах, луна! в душе тоска,
Скорбь пустого городка!

Ах, луна! я плачу! слушай!
Или ты заткнула уши?

ДРУГАЯ ЖАЛОБА ЛУНЕ

Луна-царица,
Кому не спится,

Твой медальон,
Эндимион,

Звезда гробовая,
Для всех чужая,

Гроб алчный, где спит
Жрица Танит,

Мисс, синьорина,
Диана-Люпина,

Дебаркадер
Небесных сфер,

Святой Георгий
Наших оргий,

Твой сглаз, игра
В баккара,

Чьи-то гримасы
С земной террасы,

Приманка-зов
Светляков,

Собор соседний
Обедни последней,

Кошачий глаз,
Выкупающий нас,

О, будь приютом
Святым минутам,

Будь покровом мирным
Над прощеньем всемирным!

ДОБРАЯ, ДОБРАЯ ОСЕНЬ

Вернется скоро осень,
Пора глухих ночей.
Как истинный художник,
Давно я дружен с ней.

Я ветер знаю близко,
Как друга своего.
С тех пор, как я родился,
Дрожу я от него.

И снег я знаю тоже.
Он, холоден и бел,
Хранит своей пшеницей
Меня от жажды тел.

Диск солнца, даже в полдень,
Так бледен и так мал, —
Лишь в виде утешенья...
Я это угадал!

Я с осенью сдружился,
Она со мной совсем, —
Как этот мир с «а после?»
А в мире все с «зачем?»

Пусть приходит осень,
Пора глухих ночей!
Как истинный художник,
Давно я дружен с ней.

ЛОРАН ТАЙАД
(1854—1919)

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Воспоминания! Я вновь у милых мест!
Опять передо мной — безмолвные озера,
Как саван роковой покинутых невест.

Под скорбью бузины, нависшей с косогора,
Как скатерть, тянется дорога, где — глядишь, —
В сыпучем мергеле сломается рессора.

Ушли в нору и крот, и полевая мышь,
И лишь весеннее дыханье, еле вея,
Качает медленно и озеро и тишь.

Над серым вереском не пляшет Лорелея,
И тень легла. Кругом — молчанье. Лишь кулик
Порою прокричит, и крик замрет, немея.

Покинув в этот час на вязах свой тайник,
Приюты под плющом и хмелем, — богомолы
Идут сосать вино незрелых ежевик.

В белеющих плащах, чрез холмики и доли,
Они спускаются к пророческой воде,
И чешут волосы, — во мгле мираж веселый!

Недолг он. Лишь миг — и вот их нет нигде,
Виденья сгнули, как огонек блудящий,
И птицы замерли меж камышей, в гнезде.

Гасительница снов, лампадою горящей,
Откосы голубя, вздымается она,
В блестящую лазурь, сквозь тонкий пар, дрожащий,

Твоя луна, Шекспир! ущербная луна!

ЖОРЖ РОДЕНБАХ
(1855—1898)

ВЕЧЕР

Вступает сумрак в дом, и комната ему
Сдается без борьбы, бессильно и покорно,
И вдруг становится пустынной и просторной,
Вот, первым, потолок ушел в глухую тьму,
И тени тянутся, как нити паутины.
Поблекли краски все; из почерневших рам
Портреты прадедов глядят суровой к нам.
Оделись трауром старинные картины;
Померкло зеркало; в темнеющем стекле
Давно искажены живые отраженья;
У статуй бронзовых в колеблющейся мгле
Так неуверенны застывшие движенья!
Там был букет из роз, но он во тьме исчез
И больше нет цветов; медлительны и строги,
Повисли сумерки над складками завес,
Их странно углубив, как колеи дороги,
И жмутся возле ламп, предчувствуя, что те
Врагами станут вдруг в пронзенной темноте...
Но комната пока во власти тьмы всецело
И кажется в тот час внезапно постарелой.

ЖАН МОРЕАС
(1856—1910)

НОКТИЮРН

Тук-тук, тук-тук. — «Ты кто, старик?»
— Я, ваша милость, гробовщик.

— «Сюда, сюда, тебя я жду,
Высокий клен сруби в саду,
Тяжелый гроб мне приготовь,
Чтоб схоронить мою любовь».

Тук-тук, тук-тук. — «Стучи, старик,
Спешి работать, гробовщик!»

«Ты белым тюлем гроб обвей,
Как грудь у ней, как грудь у ней!
И голубой прибавь убор,
Как милый взор, как милый взор!»

Тук-тук, тук-тук. — «Стучи, старик,
Спеши работать, гробовщик!»

«Вот там, вот там, где кленов ряд,
В тот час, когда погас закат
И месяц встал, и кругл и ал,
Другой к ее устам припал».

Тук-тук, тук-тук, — «Ты кто, старик?»
— Я, ваша милость, гробовщик.

— «Иди в мой сад, — иди, я жду.
Высокий клен сруби в саду,
Тяжелый гроб мне приготовь,
Чтоб схоронить мою любовь».

ИВАН ЖИЛЬКЭН
(1858—1924)

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Мой череп сумрачный, я чувствую, открыт.
Как безобразный зверь, мой красный мозг блестит

Он, как безмерный спрут, свивается, ползет,
Внезапно прыгает и в воздухе плывет.

Он нервы длинные волочит за собой,
И тянет щупальца сосцов насытых рой;

Паря, ликующий, среди ночных теней,
Он — там, где можно ждать иль женщин, иль детей

Добычу выискав, его тяжелый взгляд,
Как уголь, светится, и он, как дьявол, рад.

О, горе, вам, умы мечтательные! ждут
Вас кольца страшные, сожмет вас злобный спрут.

Он жаждет тех мозгов, где бьется пульс идей,
Он пьет живую кровь поэтов и детей.

Он поглощает все — желанья, сны, мечты,
И снег невинности и пламя красоты.

И, пир окончив свой, пресыщенный, — опять
В мой череп спрут ползет, чтоб спать и отдохнуть.

ШАРЛЬ ВАН ЛЕРБЕРГ
(1861—1907)

ИЗ ПЕСЕН ЕВЫ

Дождь, мой брат,
Летний, теплый, милый!
Чу, твои шажки стучат,
Легконогий, легкокрылый!

Развязалось ожерелье,
Перлы падают вокруг.
Пой, малиновка, веселье,
Попляши, скворец, мой друг!
Пойте, пойте, все листочки,
Попляшите, все цветочки,
Веселися, старый лес, —
Свято, свято, что с небес!

Дождь мне улыбнулся,
Весело, глазами;
Дождь меня коснулся
Влажными руками,
Тысячами рук...
Здравствуй, дождь, мой брат, мой друг!

На ковер травы,
От зари до тьмы,
И от тьмы до утра,

Зерна перламутра,
Льются, льются, льются,
Катятся и бьются...

Выйдет солнце, золотя
Травы нежными лучами,
И осушит волосами,
Золотыми волосами,
Ноги влажные дождя.

МОРИС МЕТЕРЛИНК

(1862—1949)

УНЫНИЕ

Павлины, белые павлины, уплыли при лучах луны,
Павлины, белые павлины, уплыли плавно навсегда,
Уплыли белые павлины, мои томительные сны,
До пробужденья, до рассвета, во глубь заглохшего пруда,
Павлины, белые павлины, мои томительные сны,
Уплыли плавно в глубь глухую, где дремлет тусклая вода,
В глухую глубь пруда без солнца, где волны полны тишины,
Павлины, белые павлины, уплыли плавно навсегда.

НАМЕРЕНИЯ

Сжальтесь над унылыми глазами,
Где душа мечтает о своем,
Сжальтесь над нескрытыми цветами,
Над тоской на берегу ночном!

Смущены таинственные воды;
Лилии дрожат в их глубине,
И бегут по влаге вдаль разводы...
Эти все видения — во мне!

Боже! Боже! на стеблях от лилий
Вырастают странные цветы;
Мерно взмахи серафимских крылий
Двигут воду в озере мечты.

И за чашей чаша расцветает
На воде, по знаку, в этот час,
И душа, как лебедь, раскрывает
Крылья белые усталых глаз.

* * *

Милый с ней прощался
(Чу! то двери скрип!),
Милый удалился, —
Она улыбалась!

Милый к ней вернулся
(Чу! то лампы треск!),
Милый возвратился, —
Там была другая!

И я видел облик
(Чу! то сердца стук!),
И я видел облик
Стерегающей смерти.

* * *

А если он возвратится,
Что должна ему я сказать?
— Скажи, что я и до смерти
Его продолжала ждать.

А если он спросит, где ты?
О, что я скажу в ответ!
— Отдай ему этот перстень,
Ничего не сказав в ответ.

А если он удивится,
Почему так темно теперь?
— Укажи погасшую лампу,
Укажи открытую дверь.

А если он спрашивать будет
О том, как свет угасал?
— Скажи, что я улыбалась, —
Чтоб только он не рыдал!

А если он не спросит,
Должна ли я говорить?
— Взгляни на него с улыбкой
И позволь ему позабыть.

* * *

Пришли и сказали
(О, как страшно, дитя!),
Пришли и сказали,
Что уходит он.

Вот зажгла я лампу
(О, как страшно, дитя!),
Вот зажгла я лампу
И пошла к нему!

Но у первой двери
(О, как страшно, дитя!),
Но у первой двери
Задрожал мой свет.

У второй же двери
(О, как страшно, дитя!),
У второй же двери
Зашептал мой свет.

И у третьей двери
(О, как страшно, дитя!),
И у третьей двери —
Умер свет.

* * *

Я тридцать лет искала, сестры,
Где скрылся Он?
Я тридцать лет блуждала, сестры,
И все — как сон.

Я тридцать лет блуждала, сестры,
Прошла везде,
Он был во всем и всюду, сестры,
И — все ж нигде!

Настал печальный вечер, сестры!
Мой посох — прочь!
Моя душа страдает, сестры,
И скоро ночь!

Но вам шестнадцать лет, о сестры!
Что жизнь моя!
Взяв посох мой, ступайте, сестры,
Искать, как я!

ПЕСНЯ МЭЛИЗАНДЫ

(Из драмы «Пеллеас и Мэлиганда»)

Три сестры слепые,
(Есть надежда, есть)
Взяли три слепые —
Лампы золотые.

Три сестры на башне,
(Мы, они и вы)
Три сестры на башне
Ждут в тоске всегдашней.

Слышу, — молвит Фрея, —
(Есть надежда, есть)
Слышу, — молвит Фрея, —
Тихий ветер веет.

Слышу, — молвит Анна, —
(Мы, они и вы)
Слышу, — молвит Анна, —
Близок царь желанный.

Тише, — молвит Герта, —
(Нет надежды, нет)
Тише, — молвит Герта, —
Свет погас от ветра...

РЕНЕ ГИЛЬ
(1862—1925)

ЖАЛОБА ПАСТУШКЕ

Нет ни одной тропы на свете, дорогая,
где б не прошли хоть раз влюбленные...

В пыли
расцветших летних дней шаги их, замирая
под шепот страстных клятв, растаяли вдали:

(так бляенье твоих овечек, так вдали
замолкший ровный шум нагорных речек, тая...)

но утро каждое (смотри!) опять в пыли
расцветших летних дней — посев шагов! Сверкая,
вся радость, вся мечта, встает заря другая!

О дорогая!

Когда слетает лист, и воет звонкий рог,
и полон небосклон его истомным стоном,
и веет ветер в овсе, блуждая без дорог,
в дни августа, — жнецы, по дедовским законам,
как рой кузнечиков, по пашням и по склонам,
серпами верещат, о дорогая...

Но

когда уже полно высокое гумно, —
вновь в полдень запахи над полем страстно дышат,
вновь ветер над жнитвами забытый стебель колышет!
А где колосья ржи стройны и высоки,
там, где колосья ржи, — синеют васильки!

Нет места на земле, о дорогая, где бы
кровь не лилась овец.

Они с тобой по полю
теснились и паслись, и вдоль больших дорог
багряных летних дней (глядя на ошупь в небо
очаи кроткими) все шли как бы в неволю.
В пыли багряных дней следы их робких ног
дождем, что по тропам топтался и по полю,
размыты до конца...

И все же на путях
багряных летних дней, там, по большей дороге, —
где лужи от дождя еще блестят во рвах,
опять вздымают пыль их маленькие ноги!
и сколько б небосклон ни угрожал грозой,
их, робких, блеющих, — все столько ж за тобой!

Нет ни одной тропы на свете, дорогая,
где б не прошли хоть раз влюбленные...

И пусть
серпом идущих лет ты срезана (любовь
моей души и слов!), и пусть струилась кровь
мучительных разлук, когда всевластна грусть;
в истоптанной пыли воспоминаний пусть
посев твоих шагов размыт...

Заря, сверкая
под голубым шатром одеждой белизны,
опять встает. И вновь живет любовь былая!
тобой полны — мечты и сны — как в дни весны!
О дорогая!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Мой милый, спи, — усни: в тиши, в тени
глаза сомкни...

Твой аист сыт, — молчит: среди раки
на крыше спит...

Пора уснуть, — усни: ко мне на грудь
прильни, забудь...

Тебя не ждет — твой кот: поет сквозь сон,
мурлычет он...

В тиши, в тени — усни: прильни на грудь,
все позабудь...

НА СМЕРТЬ СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ

Похоронный плач

Когда б тебе сказали мы: «Учитель!
Восходит день;
Вот золотой рассвет, все тот же, за рекою.
Учитель, я окно открою:
Заря опять идет, гоня с востока тень,
И в небе торжество от края и до краю!»

— Мне кажется, ты нам ответишь: «Я мечтаю».

Когда б тебе сказали мы: «Учитель!
Живые, сильные, мы вновь у двери, здесь,
Как накануне; мы сюда пришли, Как братья
Приходят в отчий дом, и круг наш весел весь:
Твоей улыбки ждем; ждем крепкого пожатья!»

— И нам ответят вдруг: «Учитель умер».

Цветы с моей террасы,
Как будто те цветы, что книга сохранила...
Цветы — зачем?
Вот песня тихая, как тень твоих поэм,
Что кружится и падает, чтоб стыть
И осыпаться, как цветы, уныло;
Вот стыд и ужас — жить
И говорить слова — здесь, пред твоей могилой!

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

(1864—1936)

НА ОТМЕЛИ

Прилечь на отмели, двумя руками взять
(Чтоб за песчинкою песчинку высыпать)
Горсть белого песка, что золотит закат,
И, раньше чем глаза закроешь, бросить взгляд
На море стройное и в глубину небес;
Потом, почувствовав, что весь песок исчез
Из облегченных рук, что нет в них и крупницы,
Подумать, прежде чем опять раскрыть ресницы,
О всем, что наша жизнь берет у нас, мешая
Летучий свой песок на отмели без края.

* * *

Других пусть радуют прекрасные закаты,
Что память золотят,
Триумфы, радости и песни, и кантаты,
Всех наслаждений ряд:
Мне у дверей поет волна, come ucello*,
Как тихий ропот струн,

* Как птица (*итал.*).

И в черной гондоле поеду я в Торчелло,
По мертвости лагун;
И буду вечером, в час лунного восхода,
Дышать я всей душой
Желанным запахом соленых вод и йода
Венеции морской...

ЭРНЕСТ РЕЙНО
(1864—1936)

ЗАБЫТЫЕ ПЕВЦЫ

Забытые певцы! безвестные поэты!
Бессчетный, черный полк, вовеки не согретый
Лучом известности! У букинистов я,
В числе календарей и книжного старья,
Ваш томик разыскав, беру его без торга
(О, гробик маленький печалей и восторга!)
И после, вечером, при лампе, в тишине,
Как я вознагражден, когда внезапно мне
Из груди слов пустых, с томительной страницы,
Блеснет прекрасный стих, как беглый блеск зарницы!
С певцом неведомым я в чувстве слиться рад,
И слезы горькие в моей груди дрожат,
И в глубь грядущих дней смотрю я горделиво,
Исправив приговор судьбы несправедливой!

ФАВН

Я долго, мраморный, стоял среди листвы,
В саду запущенном, и взор мой терпеливый
Привык следить в ветвях за белкой шаловливой,
За кругом коршуна в просторах синевы!

И вот я не в саду, а в мраморном Музее.
Как память прошлого, немного мне дано:
Лазури бледной клоч, чуть видимый в окно,
Да две, на цоколе, сплетенные лилеи.

Но здесь, в изгнании, мне близок мир былой.
Я помню: на заре слетался птичий рой
Ко мне, чтоб влагу рос пить из моей ладони.

Здесь праздная толпа глазеет на меня,
Лакеи служат мне, при первом свете дня —
Но сердцем я не здесь, там, на зеленом склоне!

ФРАНСИС ЖАМ
(1868—1938)

АЛЬМАНАХ

Корзинку с яйцами оставив, в альманах
Глядит ребенок; там предсказана погода,
Святые названы, и знаки небосвода
Исчислены: *Овен, Телец, Лев, Рыбы, Рак...*

Простушка бедная, перелистав картинки,
Мечтает, что вверху, где звезды так блестят,
Как на земле, внизу, есть праздничные рынки,
Где продают овец, рыб, раков и ягнят.

И рынка Божьего встает пред ней виденье...
И думает она, увидев знак *Весов*,
Что есть на небесах, как здесь у мясников,
Весы, чтоб взвешивать соль, сыр и прегрешенья...

ЮГ ЛАПЭР
(1869—1960)

ПЕСЕНКА

Где растет зеленый падуб,
Красный вереск, темный дрок,
Там в родную землю надо б
Опустить мой скромный гроб.

Пусть снесут меня к могиле
В синих блузах земляки,
Чтоб, баюкая, продлили
Чувство жизни их шаги.

И неслышно, в тихом мире,
В ночь земли сойду я вниз, —
Без кантат, без «Dies irae» *,
Как с ветвей спадает лист.

* «День гнева» (лат.) — начало католического песнопения.

ПРИСКА ДЕ ЛАНДЕЛЬ
(Годы жизни неизвестны)

СОСТРАДАНИЕ

Вот проходят бедняки.
Ах, они давно устали
Знать с рожденья лишь печали,
Дни нужды и дни тоски.

Дети долгого страданья,
Просят хлеба и любви;
Но, с величием судьбы,
Им бросают подаянье.

Полусонный жест руки
Там, где есть ответ — объятья.
Как? Так люди уж не братья?
О, тогда они враги?

И в подавленном ответе
Скрыты злобные слова:
«Будет день и торжества.
Горе — счастливым на свете!

Мы томимся, мы — в слезах,
Вы же — горды и богаты...
В день торжественный расплаты
Мы раздавим вас во прах!»

Вы, владыки наслажденья!
Вот проходят бедняки,
Дети сумрачной тоски...
— О, добейтесь их прошенья!

ПОЛЬ ФОР
(1872—1960)

БАЛЛАДА

Она умерла, умирая в расцвете счастливой любви.
Они ее фоб зарывали при первом сияньи зари.

Теперь ей лежать одиноко, в богатом наряде своем.
Теперь ей лежать одиноко, под тяжким могильным холмом.

Они возвращались беспечно, беспечно встречая восход.
Они возвращались и пели с беспечностью: «Всем свой черед!»

Она умерла, умирая в расцвете счастливой любви!
Они на охоту спешили, спешили, как в прошлые дни.

РЕНЕ АРКОС
(1881—1959)

ЗЕМЛЯ
(Отрывок)

Влекума силою первичной, ты ль жива,
Бродячая земля, о глыба вещества?

Вертись, стремись, судьба не ждет!
За оборотом оборот,
За днями день, за годом год,
За веком век, вперед, вперед!
Стреми свой лет, судьба не ждет!

Зерно летящее! Зародыш неразвитый!
Пустая скорлупа бесплодного яйца!
Зеленый абрикос, грозюю с ветки сбитый!
Нет, нет, не изумруд небесного Кольца!

Вертись, стремись, судьба не ждет,
За оборотом оборот!

О, муха жалкая у солнца в паутине,
О, виноградина из грозди мировой,
Земля! ты брошена между планет, в пустыне —
Без устали плясать свой танец круговой.

За днями день, за годом год
Стреми свой лет, вперед! вперед!

Ты — точка малая, в пространстве без опоры!
Ты — точка, но без «i»! Ты — круглый поплавок,
На океане лет качаемый, который,
Наполнившись водой, нырнет на дно, в свой срок!

Вертись, земля! судьба не ждет!
За оборотом оборот!

А! А! Шар бильбока, рукой неловкой брошен!
Иль просто грязи ком из сжатых рук Творца!
Иль чей-то темный мозг, без черепа, непрошен,
Блуждающий меж звезд в пространствах без конца!

Вертись, стремись, судьба не ждет!
За оборотом оборот,
За днями день, за годом год,
За веком век, вперед, вперед,
Стреми свой лет, судьба не ждет!

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ

(1884—1972)

КОВАЧИ

Эй! эй!

Воду лей!

Пусть костер шипит, трещит,
Уголь с углем говорит!

Эй! эй!

Дружно вей!

Уголь к углю держит речь.
Пусть меха застонут в печь!
Молот наковальню бьет,
Молот молоту поет,

И вокруг

Страшен грохот, страшен топот, страшен стук!

Молот ярый

Молодых умов,

Сыпь удары

По металлу слов!

Эй! эй!

Дружно бей!

Раздувай сильнее мех!

Мы расколем

Мира сумрачный орех,
Тайну выйти приневолим!
Молот наковальню бьет,
Молот молоту поет,
Молот тяжкий, молот адский, огневой.

Эй, не стой!
Все исполни
В вихре молний,
В шуме, в буре!
Бей чудесней,
До лазури
Свет и песни
Выбивая над собой!

РИМСКИЕ ЦВЕТЫ

ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ МАРОН
(70—19 до н. э.)

БУРЯ НА МОРЕ

(«Энеида», 1, ст. 50—156)

.
Думы такие богиня в пылающем сердце вращая,
Мчится на родину туч, на безумными Австрами полный
Остров Эолию. Там в необъятной пещере царь Эол
Междоусобные ветры и громоподобные бури
Властью своею гнетет и смиряет тюрьмой и цепями.
Те, негодуя, грохочут с великим роптанием горным
Около створов, а Эол сидит в крепостице высокой,
Скиптры держа, умягчает их дух и смиряет их гневы.
Так он не делай, и море, и сушь, и глубокое небо
Ринули быстро б они за собой, разнесли бы в пространствах.
Но всемогущий отец заколодил их в черных пещерах,
Сам опасаясь того, и высокие горы, и тяжесть
Сверх навалил, и поставил царя, чтоб, согласно условию,
Вожжи умел и спускать и натягивать он по приказу.

К оному тут, умоляя, Юнона так речь обратила:
«Эол! — тебе поелику бессмертных отец и людей царь
Препоручил и волнение смягчать и вздымать волны ветром, —
Мне ненавистное племя плывет по Тирренскому морю,
Илий в Италию оный везет побежденных пенатов.
Ветрам всевластье придай, потопа погруженные кормы
Иль, разметав их, гони и раскидывай по морю трупы.
Нимф дважды семь у меня есть, наружностью милых, из коих

Ту, что красой всех других привлекательней, Деиопею,
Браком с тобою я прочным свяжу, дам тебе во владенье,
Все чтоб с тобой проводила она — за такие заслуги —
Годы, и ты бы отцом чрез нее стал прекрасного рода».

Эол в ответ: «Обсуждать подобает тебе, о царица,
Труд, что свершить ты желаешь, а мне — лишь ловить
повеленья.

Ты утверждаешь за мной это царство, и скиптры, и Йова
Милость, и ты позволяешь богов на пирах возлежать мне,
Над облаками меня и над бурями делаешь властным».

Так он сказал и пустую трезубцем повернутым гору
В бок ударяет, и ветры, как будто бы сомкнутым строем,
Рвутся, где дверь отворилась, и вихрем над землями веют.
На море поналегли, и что есть с коренных оснований
Вместе как Эвр, так и Нот все срывают, и к бурям привычный
Африк, и клубами гонят огромные к берегу волны.
Вслед корабельщиков крик прозвучал и скрипенье веревок.
Тучи неожиданные вдруг исторгают и день, и свод неба
Тевкров из глаз; и на море ночь черная опочивает.
Полюсы загрохотали, эфир частым пламенем блещет;
Неизбежимую мужам вокруг представляет все гибель.

В то же мгновенье Энея слабеют от холода члены.
Он простонал и, обе руки воздевая к светилам,
Голосом так вопиет он: «О, трижды, четырежды счастлив,
Кто на глазах у отцов, под высокими стенами Тройи,
Смерть удостоился встретить! О данаев рода храбрейший,
Тидид! И мне почему на Илиакском поле погибнуть
Не довелось, и твоя эту душу рука не исторгла,
Ярый где лег под копьем у Эакида Гектор, огромный
Где и Сарпедон, влачит Симознт под волной унесенных
Где столько шлемов героев, щитов и тел многосильных!

Так восклицал он, когда Аквилоном порыв завывавший
Спереди парус срывает и взводень возносит к светилам;
Ломятся весла; потом он корму обращает и волнам
Бок подставляет; вслед грудой отвесная встала гора вод.
Те на вершине волненья висят; этим вал, разверзаясь,
Дно между волнами кажет; кипит на песках бушеванье.
Три судна Нот ухватив, их на скалы сокрытые мечет
(Италы скалы зовут, что стоят между волн, «алтарями»,
Гребень громадный при полной воде), три с открытого моря
Гонит на отмели Эвр и на сирты (мучительно видеть),
И оттесняет на броды, и валом песка окружает.
Оный корабль, на каком были Ликии с верным Оронтом,
Прямо пред взором Энея пучина безмерная сзади
Бьет по корме; и снесенный, стремглав упдающий кормчий
Валится вниз головой, а судно тот же вал вокруг три раза
Крутит, влача, и глотают прожорливо волнами глубины.
Изредка только пловцы появляются в бездне огромной,
Мужей оружие, доски и Тройи богатства на волнах.
Что Илионя вез крепкозданный корабль, что Ахата
Сильного, тот, где Абант, как и тот, где Алет престарелый,
Побеждены уже бурей: в боках ослабели скрепленья,
Влагу враждебную емлют они, расседаясь от щелей.

А между тем, что великим роптанием понт помутился,
И что отпущена буря, почуял Нептун, и что с самых
Отлили бродов потоки, глубоко встревожен, — и, море
Чтоб с выси вод обозреть, величавую голову вынес.
Видит Энея суда, по всему разнесенные понту,
И сокрушаемых тройев водой и небес разрушеньем.
Не утаились козни от брата и злоба Юноны;
Зефира с Эвром к себе призывает и так говорит им:

«Иль таково упованье у вас на свое родословье?
Землю и небо уж вы без моей благосклонности, Ветры,
Смеете вместе мешать и такие взносить взгроможденья?
Я вас! Но лучше сначала смирить возмущенные волны,

После невиданной карой свершенное зло искупить вам.
Бегство ускорьте и так своему возвестите владыке:
Ведь не ему над морями господство и грозный трезубец
Выпал по жребью, но мне. Пусть хранит он огромные скалы,
Ваше убежище, Эвр; пусть величится в этом чертоге
Эол, и пусть в затворенной темнице он ветрами правит».

Так он сказал и скорей, чем промолвил, смиряет он воды
Вздутые, гонит скопление туч и вновь солнце выводит.
Вместе Кимотоя, с нею Тритон, налегая, с утесов
Острых сдвигает суда; он трезубцем их приподнимает
Сам, и широкие мели вскрывает, и воды спокоит,
И на колесах он легких над глазами волн пролетает.
И, как то часто в стеченьи народа, — когда возникает
В нем возмущенье, и души свирепствуют низменной черни,
Факелы уж и камня летят, ярость правит оружием:
Если предстанет случайно заслугами и благочестьем
Муж знаменитый, — смолкают, и слух все стоят напрягая;
Он же словами царит над страстями и души смягчает.
Так и все грохоты моря замолкли, когда, озирая
Воды, поехал родитель под небом открытым и, коней
Вспять повернув, бросил вожжи, в послушной летя колеснице.

.

КВИНТ ГОРАЦИЙ ФЛАКК

(65—8 до н. э.)

ПАМЯТНИК

Вековечней воздвиг меди я памятник,
Выше он пирамид царских строения,
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не разрушат его ввек, ни бесчисленных
Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Либитины уйдет; славой посмертную
Возрастать мне, пока по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн был над сельскими
Племенами царем, из ничего могущ.
Первым я перевел песни Эолии
На италийский лад. Гордость заслуженно
Утверди и мою голову дельфийским
Благосклонно венчай лавром, Мельпомена.

К ЛИДИИ

Реже все трясут запертые двери,
Вперебой стуча, юноши лихие,
Не хотят твой сон прерывать, и любит
Дверца порог свой,

Легкие в былом чьи скрипели часто
Петли. Слышишь ты уж все реже, реже:
«Ты, пока всю ночь по тебе страдаю,
Лидия, спишь ли?»

Дерзких шатунов в свой черед, старуха,
Бедная, в глухом тупике оплачешь,
Фракийский когда голосит под ново-
лунием ветер.

Ярая любовь пусть тебе и жажда
Та, что кобылиц распаляет часто,
Раненую жжет неотступно печень, —
Пусть ты и плачешь, —

Пылкая, плющом молодежь зеленым
Тешится всегда, как и темным миртом,
Мертвые листья предавая Эвру,
Осени другу.

К ЛЕВКОНОЕ

Нет, не надо гадать (ведать грешно), много ли, мало ли
Нам, Левконоя, ждать смертного дня, и в Вавилонские
Тайны чисел вникать! Легче всегда — то, что придет, терпеть.
Много ль зим нам еще Юпитер дал, эта ль последняя,
Та, что бьется теперь тщетной волной — моря Тирренского
В груди скал? Мудрой будь: вина цеди, краткому времени
Долгих грез не сули. Мы говорим: — мчатся мгновения
Жизни! День уловляй и берегись — веровать будущим.

ЛЕБЕДЬ

Не на непрочных, не на простых помчусь
Крылах, двуликий, в выспреннем воздухе,
Поэт, и в землях не замедлю
Дольше, но, зависти недоступный,

Покину грады. Тот я, от бедных кто
Рожден был предков, тот я, зовешь кого,
Мой милый Мекенат, избегну
Смерти, волной не задержан Стига.

Вот, вот ложится кожа на голенях
Все жестче, птицей делаюсь белою,
И легкие возрастают сверху
На раменах и на пальцах перья.

Я, чем Дедалов *Икар*, известнее,
Брега увижу гулкого *Боспора*,
Сирты гетулов, и пределы,
Где гипербореи, певчей птицей.

Меня и колхи и, кто скрывает страх
Пред строем марсов, дак, и предельные
Гелоны будут знать, изучит
Мудрый ибер и из Роны пьющий.

К чему на мнимом плач погребении?
Скорбей постыдность, как и все жалобы,
Оставь стенанья и гробнице
Почестей не воздавай бесплодных.

ГАЙ ВАЛЕРИЙ КАТУЛЛ

(87/84 — ок. 54 до н. э.)

* * *

Плачьте, Венеры все и все Эроты,
Плачьте, сколько ни есть людей достойных!
Ах, воробушка нет моей любезной,
Птички, радости нет моей любезной,
Что она больше глаз своих любила;
Ах, как сладок был он, хозяйку так он,
Так, как девочка мать родную знает;
Никогда не слезал с ее груди он,
Но туда и сюда скача по груди,
Лишь ее призывал он детским писком.
Вот теперь он идет путем туманным
В мир, откуда назад нельзя вернуться.
Ах, да будет вам зло, о злые тени
Орка — вам бы глотать все, что прекрасно.
Птичку милую мне назад отдайте.
Бедный мой воробей! судьбина злая!
Ведь в тоске по тебе, моей любезной,
Стали красны от слез, потухши, глазки.

ПЕТРОНИЙ АРБИТР

(ум. в 66 н. э.)

К ДЕВЕ

Самый миг наслажденья груб и краток,
Мы, желанья насытив, вдруг стыдимся.
Так не будем же мы, со скотской страстью,
Разом к цели утех бросаться слепо:
Ибо блекнет любовь и гаснет пламя!
Но, вот так, без конца, вот так, ликуя,
Будем долго лежать, уста с устами.
В этом нет утомленья, нет позора.
Это нежило, нежит, нежить будет,
Это длится без граней, вечно ново.

ПУБЛИЙ АННИЙ ФЛОР

(II в.)

БУКВЫ НА КОРЕ

Грушу с яблоней в саду я деревцами посадил,
На коре пометил имя той, которую любил.
Ни конца нет, ни покою с той поры для страстных мук:
Сад все гуще, страсть все жгучей, ветви тянутся из букв.

ПЕНТАДИЙ

(III В.)

О ПРИБЛИЖЕНИИ ВЕСНЫ

Да, убегает зима! оживляют землю зефиры,
Эвр согревает дожди. Да, убегает зима!
Всюду чреваты поля; жары предчувствует почва.
Всходами новых семян всюду чреваты поля.
Весело пухнут луга, листвою оделись деревья.
По открытым долам весело пухнут луга.
Плач Филомелы звучит; преступной матери пени,
Сына отдавшей во снедь, плач Филомелы звучит,
Буйство потока в горах стремится по вымытым камням,
И надалеко гудит буйство потока в горах.
Тысячи тысяч цветов творит дыханье Авроры.
Дышат во глуби долин тысячи тысяч цветов.
Стонет в ущельях пустых овечьим бляньем эхо.
Звук, отраженный скалой, стонет в ущельях
пустых,
Вьется молодой виноград, меж двух посаженный вязов,
Вверх по тростинке лозой вьется молодой виноград,
Клеит под крышей опять говорливая ласточка утром,
Строя на лето гнездо, клеит под крышей опять.
Где зеленеет платан, в тени, услаждает дремота;
Надевают венки, где зеленеет платан.
Сладко теперь умереть! нити жизни, сорвитесь
с прялки!
В милых объятьях любви сладко теперь умереть!

МОГИЛА АЦИДА

Ацида здесь — на вершине горы — ты видишь гробницу
И бегущий поток там, у подножья холмов?
В них остается донныне память о гневном циклопе,
В них и печаль и любовь, светлая нимфа, твои!
Но, и погибнув, лежит он здесь, погребен, не без славы;
Имя его навсегда шумные волны стремят.
Здесь он еще пребывает, и, кажется нам, он не умер;
Чья-то лазурная жизнь зыблется в ясной воде.

ЭПИТАФИЯ ВЕРГИЛИЮ

Пастырь, орадай, воин, пас, возделывал, низил
Коз, огород, врагов, веткой, лопатой, мечом.

* * *

Ветрам вверяй ладью, души не вверяй только деве,
Ибо даже волна верности женской верней.
Доброго в женщине нет; если ж хочет быть доброй какою, —
Доброе, странной судьбой, тоже становится злым.

ГАЛЛИЕН

(III в.)

* * *

Радуйтесь, о молодые! равно соревнуйте всей силой
Мыщ меж собой: да дивятся — ропотам вашим голубки,
Вашим объятиям — плющ, блеск раковин — вашим лобзаньям.

ДЕЦИМ МАГН АВСОНИЙ
(ок. 310—394)

РИМ

Рим золотой, обитель богов, меж градами первый.

ЭХО—ХУДОЖНИКУ

Тщетно, что ты стремишься лицо даровать мне, художник?

Взорам безвестную ты мнишь ли богиню заковать?

Речи и воздуха я дитя и матерь пустого

Отзвука: голос есть, мысли же нет у меня.

Крайние звуки речей умирающих вновь возрождая,

Я, играя, свои шлю за чужими слова!

В ваших ушах я живу, повсюду входящее эхо,

Чтобы портрет был похож, должен ты звук написать!

**О ИМЕНИ НЕКОЕГО ЛЮЦИЯ, ВЫРЕЗАННОМ
НА МРАМОРЕ**

Буква одна блестит, отделенная парюю точек:

Одинокая Л имя дает угадать.

Дальше выбита М, да М, но не вся уцелела:

Камня упавшим куском верх у нее поврежден.

И, здесь кто погребен, Метелл, или Марций, иль Марий,

Достоверно узнать не суждено никому.

Спутаны все элементы, лежат в бессвязных осколках,
И ничего не прочесть в этих случайных значках.
Смерти людей удивляться ль? и мраморный памятник гибнет,
Смертный день для камней и для имен настает.

ЛАИСА, ПОСВЯЩАЮЩАЯ ЗЕРКАЛО ВЕНЕРЕ

Зеркало я посвящаю Венере, старуха Лаиса:
Вечную службу нести вечной ты вправе красе.
Мне же ты ни на что не нужно: ибо я видеть,
Что я теперь, — не хочу, чем я была, — не могу.

К КРИСПЕ

Некрасивой тебя называют, Криспа. Не знаю!
Ты, на мой взгляд, хороша: этого будет с меня.
Даже хотелось бы мне (ведь смешана ревность с любовью),
Чтоб ты казалась другим гадкой, красавицей — мне.

РОЖДЕНИЕ РОЗ

Это было весной, и ласково, колющим хладом
Веял день, возвращен алой рукою зари.
Ветер, свежий еще, предшествуя коням Авроры,
Упредить призывал зноем пылающий день.
Я бродил по дорожкам в саду, через все перекрестки,
Чтоб усладиться вполне раннего утра порой.
Видел я, как роса, замерзшая в иней, висела
Там на никлой траве, здесь на стеблях овощей,
Как на широких кочнах играли округлые капли,
Отяжелевшие вновь весом небесной воды.
Видел я, как смеялись розы, Пестума дети,
Орошены росой, с утренней новой звездой;
Как на росистых кустарниках редкие перлы белели,
Осуждены на смерть, в свете всходящего дня.

Кто угадает: Аврора румянец ли роз похищает,
Или дает, и заря алостью красит цветы?
Та же роса, тот же цвет, и утро то ж у обеих,
У звезды и цветов: мать их, Венера, одна!
Может быть, сходен и их аромат? но в даях воздушных
Свой развеивает заря, ближний нам легче вдыхать.
Общая им, — цветам и звездам, — богиня Киприда
Повелела иметь тот же пурпуровый плащ!

Миг подходил, когда цветов напухшие почки
Быстро, одна за другой, были раскрыться должны.
Та зеленеет, покрыта листиков шапочкой тесной.
Та через тоненький лист красный являет намек.
Гордый та раскрывает верх своего обелиска,
Освободив острие алой своей головы.
С темени та совлекает сборки лишней одежды,
В жажде себя проявить сотней своих лепестков.
И поспешает раскрыть богатство смеющейся чаши,
Выставляя ряды алых, сомкнутых кругов.
Та, что горела огнем волос багряных недавно,
Бледная, вот обмерла, сонм лепестков обронив...

Я дивился, как быстро грабит бегущее время,
Видя, как блекли цветы, еле успевши расцвести.
Вот, пока говорю, опали червлёные кудри
Пурпурной розы: земля красным обрызгана вокруг.
Все эти виды, и эти рожденья, и все изменены)
День их единый явил, кончил единый их день!
Как мы жалеем, Природа, что прелесть цветов так
мгновенна:

Чуть их взорам явив, ты похищаешь дары.
День сколько длится единый, — жизнь столько длится
для розы:

К юности ранней ее краткая старость близка.
Ту, чье рожденье встречала только что алая Эос,
Вечером возвратясь, видит старухой она.

Но им назначено пусть погибнуть в короткое время:
Сами они, уходя, род свой стремятся продлить!
Дева! розы собирай, пока новы, пока молода ты:
Помни, что возраст и твой столь же поспешно летит!

РОК

Все непрочное в мире родит, и ведет, и крушит Рок,
Рок, неверный и зыбкий, но манит нас лстивый надежд рой,
Рой, что с нами всю жизнь, и с кем разлучит нас одна смерть,
Смерть ненасытная, кою адская кроет в свой мрак ночь.
Ночь в свой черед умирает, едва воссияет златой свет,
Свет, этот дар богов, пред кем впереди предлетит Феб,
Феб, от кого не укрылся с Венерой одетый в доспех Марс,
Марс, что рожден без отца; его чтит фракийцев слепой род,
Род проклятый мужей, что свой в преступлениях зрит долг,
Долг убивать, как жертву, людей; таков той страны нрав,
Нрав свирепых племен, что законов признать не хотят власть,
Власть, что в мире возникла из вечных природы людской прав,
Прав, благочестия дочерей, прав, где сказался богов ум;
Ум этот чувством небесным кропит достойный того дух,
Дух, подобие мира, всей жизни начало, упор, мощь,
Мощь, бессильная, впрочем, затем что все шутка, ничто
все!

ТИБЕРИАН (IV в.)

* * *

Между трав поток катился, дол прохладой наполнял,
Гольшей смеясь сверканьем, убран зеленью цветов;
А синеющие лавры, мирты темные над ним
Ветерок качал тихонько сладострастным языком.
У подножий дерн приятный пышным цветом расцветал;
И земля адела кроком и белела в лилиях.
Благовонием фиалок целый лес благоухал.
Между тех даров весенних, драгоценных благостынь,
Ароматов всех царица, светоносица цветов,
Возносила (лик Дионы) роза — злато лепестков.
Лес росистый поднимался над увлажненной травой,
Из ключей журчали частых, здесь и дальше, ручейки,
Что в томительном теченье, светлоструйные, лились.
Мох окутывал пещеры, а внутри — зеленый плющ.
В этой тени рой пернатых, сладкогласней, чем ты мнишь,
В песнях вешних разливался или в сладких рокотах:
Здесь журчащий ропот речи согласован был с листвою,
Чьи воздушные напевы Муса Зефира влекла.
И того, кто шел сквозь зелень, аромат и музыку,
Упояли — птицы, речка, воздух, роща, тень, цветы!

СУЛЬПИЦИЙ ЛУПЕРК

(IV в. ?)

НА БРЕННОСТЬ

Суждена всему, что творит Природа
(Как его ни мним мы могучим), гибель.
Все являет нам роковое время
Хрупким и бренным.

Новое русло пролагают реки,
Путь привычный свой на прямой меняя,
Руша пред собой неуклонным током
Берег размытый,

Роем толщу скал водопад, спадая;
Тупится сошник на полях железный;
Блещет, потускнев, — украшение пальцев, —
Золото перстня...

ЛУКСОРИЙ

(VI в.)

* * *

Нежный стихов аромат услаждает безделие девы;
Кроет проделки богов нежный стихов аромат.

* * *

Ты благодарность прими, Пэан, наполняющий сердце!
Слушатель, выслушав нас, ты благодарность прими.

БЕЗЫМЯННЫЕ ПОЭТЫ
«ЛАТИНСКОЙ АНТОЛОГИИ»

(IV—VI вв.)

* * *

Феб мне во сне воспретил Лиейским вином упиваться.
Подчиняюсь ему: пью лишь, когда я не сплю.

* * *

Бани, вино и любовь, вы наше губите тело;
Нашу творите вы жизнь, бани, вино и любовь.

* * *

Волн колыхание так наяд побеждает стремление,
Моря Икарова вал как пламенеющий Нот.
Нот пламенеющий как вал Икарова моря, — стремление
Побеждает наяд так колыхание волн.

ИЗ ФРАГМЕНТОВ СТАРИННОЙ ПОЭЗИИ

(II — I вв. до н. э.)

АВТОЭПИТАФИЯ НЕВИЯ

Бессмертным смертных будь оплакивать уместно,
Оплакали б камни Невия поэта:
Ведь с той поры, как стал он обладаньем Орка,
Забыли в Риме говорить латинской речью.

АВТОЭПИТАФИЯ ЭННИЯ

Изображение зрите, о граждане, Энния старцем:
Сей вам деянья раскрыл славные ваших отцов.
Да не величит слезами никто меня, иль погребенье —
Плачем. Зачем? По устам рею живых — я, живой!

АВТОЭПИТАФИЯ ПАКУВИЯ

Пусть, юноша, спешишь ты: камень этот просит,
Чтоб на него взглянул ты и прочел бы надпись;
Пакувия поэта прах положен Марка
Под оным. Я желал, чтоб знал ты это. С миром!

ИЗ «ЛЕТОПИСИ» ЭННИЯ

...Мусы, вы, что стопами Олимп сотрясаете мощный...

...Нравами древними мощно и мужеством римское дело...

**ПОЭТЫ РАЗНЫХ СТРАН
И НАРОДОВ**

САПФО

(VII в. до н. э.)

ТРИ ОТРЫВКА

1

Сокрылась давно Селена
Сокрылись Плеяды. Ночи
Средина. Часы проходят.
А я все одна на ложе.

2

Ты кудри свои. Дика, укрась, милые мне, венками,
И ломкий анис ты заплети сладостными руками.
В цветах ты грядешь; вместе с тобой — благостные Хариты.
Но чужды богам — те, кто придут, розами не увиты.

3

Геспер, приводишь ты все, разметала что светлая Эос,
Агнцев ведешь, ведешь коз, но от матери дочь уводишь.

БАСЁ

(1644—1694)

* * *

О, дремотный пруд!
Прыгают лягушки вглубь,
Слышен всплеск воды...

БЕРТРАН ДЕ БОРН

(ок. 1140 — ок. 1215)

НА СМЕРТЬ ПРИНЦА ГЕНРИХА

Хотя бы все — рыдания, стоны, пени,
Что слышит век, печальями богатый,
Слились в одно, — для тягостной утраты
Не знали б мы достойных выражений,
Достойных слез о том британском принце,
Чья смерть и Честь и Славу поразила,
О ком весь мир еще грустит уныло,
Забыв пиры и полный черной скорби.

Твердят певцы томительные пени,
Задумчивы — беспечные солдаты,
И взоры дев как облаком объаты.
Звучат слова прощальных песнопений,
Печальных строф о том британском принце,
Пред кем, увы! — раскрылася могила!
Но сколько б слов ей песнь ни посвятила,
Все мало слез, все слишком мало скорби!

.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
(1304—1374)

* * *

Благословен ты, вечер, месяц, год,
То время, место, та страна благая,
Тот край земной, тот светлый миг, когда я
Двух милых глаз стал пленник в свой черед.

Благословенна ты, боль роковая,
Что бог любви нам беспощадно шлет,
И лук его, и стрел его полет,
Разящих сердце, язвы растрawляя.

Благословенны речи все, где я
Ее назвал, печали не тая,
Желанья все, все жалобы, все стоны!

Благословенны вы, мои канцоны,
Ей спетые, все мысли, что с тоской
Лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.

ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ

(1448—1492)

ТРИУМФ ВАКХА И АРИАДНЫ

Карнавальная песнь

Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Вакх с прекрасной Ариадной
Сходят радостно вдвоем.
Так как время мчится жадно,
Мы лишь этот миг поем.
Нимфам с фавнами отрадно
Совершать за Вакхом путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Сонмы вольных козлоногих
Мчат веселых сатиресс
К мураве холмов отлогих,
В глубь пещер и в темный лес.
Что им до укоров строгих,
Горы, дебри — всюду путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Этим нимфам так же сладко,
Что так пылко ищут их,
Что любовь их ждет украдкой
Под листвою дубов густых.
Уловляй миг жизни краткой —
Всем на праздник верный путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

За ослом и за Силеном
Пьяный вот бредет старик,
В долгой жизни к вечным сменам
Лет бесчисленных он привык,
Но с усердием неизменным
К страсти проторяет путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Вот с лицом своим сердитым
И старуха вслед бредет,
Озирая с гневом скрытым
Весь беспечный хоровод.
Человек не будет сытым,
Хоть прошел он длинный путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

День сегодняшний дороже
Всех других грядущих дней.
Юность — нынче, старость — тоже!
Девы, юноши, смелей
Жгите жизнь на каждом ложе!
Путь к унынию — ложный путь.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Все мы здесь в желаньи ласки
Славим Вакха и Любовь,
Славим песни, славим пляски!
Пусть бежит по жилам кровь,
Пусть живем мы в вечной сказке,
В этом нашей жизни суть.
Счастья хочешь — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.
Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро путь!

ФРАНСУА ВЬЙОН

(1431 — после 1464)

О ЖЕНЩИНАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажите, где, в стране ль теней,
Дочь Рима, Флора, перл бесценный?
Архиппа где? Таида с ней,
Сестра — подруга незабвенной?
Где Эхо, чей ответ мгновенный
Живил когда-то тихий брег,
С ее красою несравненной?
Увы, где прошлогодний снег!

Где Элоиза, всех мудрей,
Та, за кого был дерзновенный
Пьер Абеляр лишен страстей
И сам ушел в приют священный?
Где та царица, кем, надменной,
Был Буридан, под злобный смех,
В мешке опушен в холод пенный?
Увы, где прошлогодний снег!

Где Бланка, лилии белей,
Чей всех пленял напев сиренный?
Алиса? Биче? Берта? — чей
Призыв был крепче клятвы ленной?
Где Жанна, что познала, пленной,

Костер и смерть за славный грех?
Где все, Владычица вселенной?
Увы, где прошлогодний снег!

О государь! с тоской смиренной
Недель и лет мы встретим бег;
Припев пребудет неизменный:
Увы, где прошлогодний снег!

ТОРКВАТО ТАССО
(1544—1595)

К ГРАФИНЕ СКАНДИАНО

Эти губки из коралла
Так надулись, негодуя,
Точно лишь для поцелуя
Нам любовь их даровала.

Но, друзья, вам говорю я:
Это — яблоко Тантала.
За цветами скрывши жало,
Ждет ехидна, торжествуя.

Верьте опытности поздней —
Хорошо я знаю козни
Обаятельной науки.

Эти губки сами манят;
Подойду ж, и их не станет,
А в душе и яд и муки.

К ЛУКРЕЦИИ, ГЕРЦОГИНЕ УРБИНО

Ты в юности казалась нежной розой,
Что, лепестков лучам не открывая,
За зеленью стыдливо, молодая,
Еще таит мечты любви и слезы.

Иль может, ты (не с миром нашей прозы
Тебя равнять) была зарею рая,
Что, тени гор и поле озаря,
На небесах полна невинной грезы.

Но для тебя года прошли неслышно,
И молодость в своем уборе пышном
Сравнится ли с твоею красотой?

Так и цветок душистее раскрытый,
И в полдень так лучи с небес разлиты
Роскошнее, чем утренней зарею.

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

(1564—1616)

СОНЕТ 55

Ни мрамору, ни злату саркофага
Могущих сих не пережить стихов.
Не в грязном камне, выщербленном влагой,
Блестать ты будешь, но в рассказе строф.

Война низвергнет статуи, и зданий
Твердыни рухнут меж народных смут,
Но об тебе живых воспоминаний
Ни Марса меч, ни пламя не сотрут.

Смерть презирая и вражду забвенья,
Ты будешь жить, прославленный всегда;
Тебе дивиться будут поколенья,
Являясь в мир, до Страшного суда.

До дня того, когда ты сам восстанешь,
Во взоре любящем ты не увянешь!

СОНЕТ 57

Твой верный раб, что я еще могу,
Как не тебе все посвятить мгновенья?
Когда к себе ты потребуешь слугу,
Он лучшего не ведает служенья.

Я не ропщу на медленность часов,
Следя за ними в муке ожидания,
И я не жалуясь на горечь слов,
Когда мне говоришь ты: «До свиданья».

Не смею я ревнивою мечтой
Следить, где ты. Стою, как раб угрюмый,
Без ропота и пред единой думой:
Как счастлив тот, кто в этот миг с тобой!

И жизнь твою — какой она ни будет —
Любовь-глупец и в мыслях не осудит.

СОНЕТ 60

Как волны набегают на камень
И гибнут на отлогом берегу,
Так в быстрой смене вдаль бегут мгновенья,
И ни одно не медлит на бегу!

Чуть молодость достигла полной силы,
Едва блеснула кратким торжеством,
Как наступил уже закат унылый
И стало Время щедрое — скупцом.

Оно сгибает молодые спины,
В забвеньи топит лучшие часы,
На лицах красоты кладет морщины, —
Ничто не свято для его косы.

Но стих мой славит то, что так прекрасно!
Над ним, о Время, будьешь ты не властно!

СОНЕТ 73

То время года видишь ты во мне,
Когда, желтея, листья стали редки,
И там, где птицы пели о весне,
Оголены, дрожа от стужи, ветки.

Во мне ты сумерки находишь дня,
Что гаснет после яркого заката;
Ночь темная, к покою всех клоня,
(Двойник твой, Смерть!) его влечет куда-то!

Во мне ты видишь отблески огней,
Лежавших в пепле юности своей;
Они окончат жизнь на этом ложе,

Снедаемые тем, что их зажгло.
И потому, что день, ты любишь строже,
Спеша любить то, что почти прошло!

ВОЛЬТЕР
(1694—1778)

ЭПИГРАММЫ

* * *

В лесу змеей, в разгаре лета,
Ужален был поэт Фрерон.
Кого ж сгубила встреча эта?
Та околела, а не он!

* * *

Вот почему Иеремия
Лил много слез во дни былые:
Предвидел он, что день придет —
Его Лефран переведет.

МАКСИМИЛИАН РОБЕСПЬЕР

(1758—1794)

РОЗА

Когда-то Розу мир
Знал бледной под денницей;
К ней не спешил зефир,
Не звал ее царицей.
Но Бахус, бог забав,
К Венере раз припав,
С собой берет дочь Флоры,
И, пурпуром вина
Залитая, она —
Алей лучей Авроры!

Две капли по щекам
Киприды просквозили —
Две розы вскрылись там
Меж белых, нежных лилий.
Так ярок тот убор,
Что Роза с этих пор —
Царица над цветами,
Киприда ж в небесах,
Всегда с огнем в очах, —
Царица над богами!

АНДРЕ ШЕНЬЕ
(1762—1794)

* * *

Заслушались тебя безмолвные наяды,
О муза юная, влюбленная в каскады,
У входа в темный грот, что нимфам посвящен,
Плющом, шиповником, акантом оплетен.
Амур внимал тебе в тени листвы укрomной;
Потом приветствовал сирену роши темной
И, золото волос твоих сдавив рукой,
Сплел гиацинт и мирт с душистою косой.
«Твой голос для меня, — сказал он, — был утешней,
Чем для медовых пчел сок медуницы вешней!»

АНТУАН АРНО

(1766—1834)

ЛИСТОК

Сорван с веточки зеленой,
Бедный листик запыленный,
Ты куда несешься? — Ах,
Я не знаю. Дуб родимый
Ниспровергла буря в прах.
Я теперь лечу, гонимый
По полям и вдоль лесов,
По горам и долам мира,
Буйной прихотью ветров,
Аквилона и Зефира,
Я, без жалобы, без слов,
Мчусь, куда уносят грозы
В этой жизни все в свой срок:
Лепесток засохший розы,
Как и лавровый листок.

ШАРЛЬ-ЮБЕР
МИЛЬВУА
(1782—1816)

РЕКА ЗАБВЕНИЯ

Лета, ты, чей ропот клонит
В дрему элисейский мрак,
Ты, в чьих волнах равно тонет
Память бед и память благ,

Прочь! жестоких утешений
Пусть не славит мне твой звук.
Я забвеньем наслаждений
Не куплю забвенья мук.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

(1759—1805)

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

К борьбе певцов и на ристанья,
В Коринф, куда на состязанья
Идет народ со всех концов,
Шел также Ивик, друг богов.
Феб дал ему, что дал немногим:
Дар песен, сходных с шумом волн,
И шел он с посохом убогим
Из Регия, весь богом полн.

Уж путника с горы высокой
Манит Акрокоринф далекий,
И в бор, где чтится Посейдон,
С священной дрожью входит он.
Вокруг все тихо, только стая
Несется журавлей за ним;
Полоской серой в выси тая,
Они летят к краям иным.

«Привет вам, вольные станицы!
Вас, что со мной над морем, птицы,
Летели, — в добрый знак приму!
Удел ваш близок к моему:
Издалека сюда пришли мы,
Мечтаем добрый кров найти, —
Да будем Зевсом мы хранимы,
Блюдушим странников в пути!»

Смелей шагает он и скоро
Вступает в середину бора;
Вдруг видит, на тропе глухой,
Он двух злодеев пред собой.
Готовиться он должен к бою,
Но быстро слабнет сила рук:
Он мог владеть тугой струною,
Но не сгибал ни разу лук.

И к людям и к бессмертным тщетно
Взывает он, — все безответно.
Напрасен крик его: кругом
Живого нет в лесу глухом.
«Итак, умру я здесь, покинут,
В чужой земле, не погребен!
Руками двух убийц низринут,
Никем не буду отомщен!»

Сражен, он падает в бессильи...
Но близко зашумели крылья,
И слышит (меркнет свет очей)
Он — грозный оклик журавлей.
«Вы, журавли, что там летите!
(Не слышу голосов других!)
Вы жалобу мою примите!»
Так он воскликнул — и затих.

Труп обнаженный разыскали;
Хоть раны тело искажали,
Узнал коринфский друг певца
Черты любимого лица.
«Вот что готовил рок суровый!
А я мечтал, под гул племен,
Тебе вручить венок сосновый,
Твоею славой озарен!»

Народы, собранные вместе,
Со стоном внемлют страшной вести.
И вот — вся Греция в слезах,
Утраты скорбь — во всех сердцах,
К притану рвутся на ступени
И требуют все, вновь и вновь,
Отмщения убитой тени:
Пусть даст ей Мир убийцы кровь!

Но где же признак, чтоб в громадной
Толпе, как море, неоглядной,
Что блеск торжеств объединил,
Злодей постыдный узан был?
Разбойник ли разил коварный?
Иль тайный враг своей рукой?
Лишь Феб сказал бы лучезарный,
Сияющий над всей землей.

Шагами дерзкими, быть может,
Сейчас он шум бегущих множит,
Вкусив, хоть ищет мечь его,
Плоды злодейства своего;
Ругается богам у входа
В их храмы; иль, быть может, сам
Смешался он с толпой народа,
Что потекла к театру там.

Скамья к скамье, все тесно сели
(Подпоры держат еле-еле!),
Со всех концов сошедшись, тут
Все племена Эллады ждут.
Киша народом, как волнами,
Шумя раскатами молвы,
Восходит гнутыми рядами
Театр до самой синевы.

Кто перечтет племен названья,
Пришедших дружно на собранье?
Те из Авлиды, из Афин,
Там сын Фокиды, Спарты сын,
Те из Азийских поселений,
Те с островов. И, присмирив,
Внимают с высоты сидений
Все хора сумрачный напев.

Обычай соблюдая верно,
Суров и строг, походкой мерной
Из глуби медленно идет
Хор, совершая свой обход.
Земные жены так не ходят!
Не здесь те женщины выросли:
Их стан безмерно превосходит
Рост смертных жителей земли!

Плат черный их по бедрам хлещет,
И факелов, колеблясь, блещет
В руках костлявых дымный свет.
В их бледных лицах — крови нет;
И там, где вьются, миловидны,
У смертных кудри над челом,
У них то змеи, то ехидны
С надутым ядом животом.

Стремясь по кругу, страшны взорам,
Они свой гимн запели хором,
Что заставляет всех бледнеть
И преступленье ловит в сеть.
Лишая воли, ослепляя,
Звучит эринний песнь вокруг,
Звучит, в костях мозг иссушая, —
И ей не нужен лирный звук:

«Блажен, кто от греха свободен,
Кто чист душой, с младенцем сходен;
К нему не подойдем, грозя,
Пред ним свободная стезя.
Но горе, горе, — потаенно
Кто грех свершил убийства, мы
К его стезям прильнем бессонно,
Ужасные исчадья тьмы!

«Он мнит от нас бежать куда-то,
Но мы уж там толпой крылатой.
И вот он, с петлей на ногах,
Захваченный, повержен в прах.
Так гоним мы, не зная лени,
Не внемля клятвам и слезам,
Все вдаль, все вдаль, до царства теней,
Но жертву не щадим и там».

Так с песней пляшут хороводом.
Лежит молчанье над народом,
Как смерти тишина, мертво, —
И мнится: близко божество.
Обычай соблюдая верно,
Хор, совершая свой обход,
Торжественно, походкой мерной,
Во глубь медлительно идет.

То ложь иль правда, сомневаясь,
Еще все мыслят, — содрогаясь
Пред страшной силой, что во мгле,
Как судия, бдит на земле,
Незнаема, непостижима,
Невидима при ясном дне,
Вьет темный клуб судеб — и зрима
Лишь в тайной сердца глубине.

Вдруг, наверху, с скамьи высокой
Раздался голос одинокий:
«Чу, слышишь, слышишь, Тимофей?
Крик Ивиковых журавлей!»
Внезапно небо стало темно.
Все видят: высоко, вдали,
Несутся полосой огромной,
Театр минуя, журавли.

«Как, Ивик?» Имя дорогое
Теперь сердца тревожит вдвое.
Летит, как за волной волна,
Из уст в уста мольба одна:
«Как, Ивик? Тот, о ком все плачут?
Убийцы кто сражен рукой?
Что скрыто в тех словах? Что значат?
При чем здесь журавлиный рой?»

И весь театр дрожит от гула.
Вдруг — словно молния блеснула
Во всех сердцах: «Он здесь сидит,
То — мощь незримых эменид!
От казни не уйдет убивший,
Себя злодей избличил!..
Пусть будет взят и говоривший,
И тот, кому он говорил!»

Кто молвил так неосторожно,
Вернул бы слово. — Невозможно!
От страха побледневши, он
В своем злодействе обличен.
Пред судей их влекут скорее,
Подмости в суд обращены,
И сознаются лиходеи,
Стрелой возмездья сражены.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ
(1749—1832)

НОЧНАЯ ПЕСНЬ СТРАННИКА

На всех вершинах —
Покой.
В листве, в долинах
Ни одной
Не вздрогнет черты...
Птицы дремлют в молчании бора.
Погоди только: скоро
Уснешь и ты!

* * *

Что ж еще нам, мандаринам,
Сытым властью, службой сытым,
Что ж еще, под небом синим,
Нам осталось в день весенний,
Как не сесть в саду закрытом
Подле ясных вод, где тени,
Чашки чая пить утешно,
Слов столбцы чертить неспешно?

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
(1788—1824)

* * *

Хочу я быть ребенком вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по лесам раздольным,
Качаться на морских волнах.
Не сжиться мне душой свободной
С саксонской пышной суетой!
Милее мне — над зыбью водной
Утес, в который бьет прибой!

Судьба! возьми назад щедроты
И титул, что в веках звучит!
Жить меж рабов — мне нет охоты,
Их руки пожимать — мне стыд!
Верни мне край мой одичалый,
Где знал я грезы ранних лет,
Где реву Океана — скалы
Шлют свой бестрепетный ответ!

О! я не стар! Но мир, бесспорно,
Был сотворен не для меня!
Зачем же скрыты тенью черной
Приметы рокового дня?
Мне прежде снился сон прекрасный,
Виденье дивной красоты...
Действительность! ты речью властной
Разогнала мои мечты.

Кто был мне друг — в краю далеком,
Кого любил — тех нет со мной.
Уныло в сердце одиноком,
Когда надежд исчезнет рой!
Порой над чашами веселья
Забудусь я на краткий срок...
Но что мгновенный бред похмелья!
Я сердцем, сердцем, — одинок!

Как глупо слушать рассужденья,
О, не друзей и не врагов!
Тех, кто по прихоти рожденья
Стал сотоварищем пиров.
Верните мне друзей заветных,
Деливших трепет юных дум,
И брошу оргий дорассветных
Я блеск пустой и праздный шум.

А женщина! тебя считал я
Надеждой! утешеньем! всем!
Каким же мертвым камнем стал я,
Когда твой лик для сердца нем!
Дары судьбы, ее пристрастья,
Весь этот праздник без конца,
Я отдал бы за каплю счастья,
Что знают чистые сердца!

Я изнемог от мук веселья,
Мне ненавистен род людской,
И жаждет грудь моя ущелья,
Где мгла нависнет над душой!
Когда б я мог, расправив крылья,
Как голубь к радостям гнезда,
Умчаться в небо без усилья,
Прочь, прочь от жизни — навсегда!

ЛАКИН-И-ГЭР

Прочь, мирные парки, где, преданы негам,
Меж роз отдыхают поклонники моды!
Мне дайте утесы, покрытые снегом,
Священны они для любви и свободы!

Люблю Каледонии хмурые скалы,
Где молний бушует стихийный пожар,
Где, пенясь, ревет водопад одичалый:
Суровый и мрачный люблю Лок-на-Гар!

Ах, в детские годы там часто блуждал я
В шотландском плаще и шотландском берете,
Героев, погибших давно, вспоминал я
Меж сосен седых, в вечерюющем свете.

Пока не затеплятся звезды ночные,
Пока не закатится солнечный шар,
Блуждал, вспоминая легенды былые,
Рассказы о детях твоих, Лок-на-Гар!
«О тени умерших! не ваши ль призывы
Сквозь бурю звучали мне хором незримым?»
Я верю, что души геройские живы
И с ветром летают над краем родимым!

Царит здесь Зима в ледяной колеснице,
Морозный туман расстилая, как пар,
И образы предков восходят к царице —
Почить в грозовых облаках Лок-на-Гар.

«Несчастливые воины! разве видений,
Пророчащих гибель вам, вы не видали?»
Да! вам суждено было пасть в Куллодене,
И смерть вашу лавры побед не венчали!

Но все же вы счастливы! Пали вы с кланом,
Могильный ваш сон охраняет Брэмар,
Волынки вас славят по весям и станам!
И вторишь их пению ты, Лок-на-Гар!

Давно я покинул тебя и не скоро
Вернусь на тропы величавого склона,
Лишен ты цветов, не пленяешь ты взора
И все ж мне милей, чем поля Альбиона!

Их мирные прелести сердцу несносны:
В зияющих пропастях больше есть чар!
Люблю я утесы, потоки и сосны,
Угрюмый и грозный люблю Лок-на-Гар!

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ

(1792—1822)

ОЗИМАНДИЯ

Мне путник встретился, кто был в стране забытой.
В пустыне, — он сказал, — две каменных ноги
Стоят без остова; близ них лежит, разбито,
Лицо от статуи, зарытое в пески.

Чело и складка уст, изогнутых надменно,
Гласят, что их творец знал глубь страстей и дум
И передать сумел столетьям в груди тленной
Мысль, двигавшую их, и их питавший ум.

Но пьедестал еще хранит слова: «Склоняйтесь!
Мне, Озимандии, название — царь царей.
Мои дела, цари, узрите — и отчайтесь!»

Нет больше ничего. Вокруг больших камней
Безбрежность, пустота, и тянутся далеко
Бесплодные пески, куда ни глянет око.

ТОМАС МУР
(1779—1852)

* * *

Шепот, звезд далеких взгляд
И рядом взгляд смущенный;
В час свиданья сонный сад,
Луною озаренный.
И речи
При встрече,
И муки
Разлуки, —

Как мгновенья, дни скользят,
И слишком кратки счастья звуки.

Жизнь вдали от дорогих,
В стране чужой и незнакомой,
Возвращенья сладкий миг,
Родной привет родного дома.
О, муки
Разлуки,
О, речи
При встрече!

Дни скользят, и счастье в них —
В них юности былые звуки.

ЭДГАР ПО
(1809—1849)

БОРОН

Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы,
Меж томов старинных, в строки рассужденья одного
По отвергнутой науке, и расслышал смутно звуки,
Вдруг у двери словно стуки, — стук у входа моего.
«Это — гость, — пробормотал я, — там, у входа моего,
Гость, — и больше ничего!»

Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный,
Был как призрак — отсвет красный от камина моего.
Ждал зари я в нетерпении, в книгах тщетно утешенье
Я искал в ту ночь мученья, — бденья ночь, без той, кого
Звали здесь Линор. То имя... Шепчут ангелы его.
На земле же — нет его.

Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески
Мучил, полнил темным страхом, что не знал я до того.
Чтоб смирить в себе биенье сердца, долго в утешенье
Я твердил: «То — посещение просто друга одного».
Повторял: «То — посещение просто друга одного,
Друга, — больше ничего!»

Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле:
«Сэр иль мистрисс, извините, что молчал я до того.
Дело в том, что задремал я, и не сразу расслышал я,

Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего». Говоря, открыл я настежь двери дома моего:
Тьма, — и больше ничего.

И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий,
Полный грез, что ведать смертным не давалось до того!
Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова,
Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его.
Я шепнул: «Линор», и эхо — повторило мне его,
Эхо, — больше ничего.

Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела),
Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того,
Но сказал я: «Это ставней ветер зыблет своенравней,
Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего.
Будь спокойно, сердце! Это — ветер, только и всего.
Ветер, — больше ничего!»

Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя
Статный, древний Ворон, шумом крыльев славя торжество,
Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он,
Словно лорд иль леди, сел он, сел у входа моего,
Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,
Сел, — и больше ничего.

Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица,
В строгой важности — сурова и горда была тогда.
«Ты, — сказал я, — лыс и черен, но не робок и упорен,
Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь
всегда!

Как же царственно ты прозван у Плутона?» Он тогда
Каркнул: «Больше никогда!»

Птица ясно прокричала, изумив меня сначала.
Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда.
Но не всем благословенье было — ведать посещение

Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда,
С кличкой: «Больше никогда!»

Одинокий, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный,
Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда.
Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул,
Наконец, я птице кинул: «Раньше скрылись без следа
Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!..» Он тогда
Каркнул: «Больше никогда!»

Вздروгнул я, в волненьи мрачном, при ответе столь удачном.
«Это — все, — сказал я, — видно, что он знает, жив года
С бедняком, кого терзали беспощадные печали,
Гнали вдаль и дальше гнали неудачи и нужда.
К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда
Знала: больше никогда!»

Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица.
Быстро кресло подкатил я, против птицы, сел туда:
Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний,
Сны за снами; как в тумане, думал я: «Он жил года,
Что ж пророчит, вещей, тощий, живший в старые года,
Криком: больше никогда!»

Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога
Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда.
Это думал и иное, прислонясь челом в покое
К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда...
Ах! при лампе, не склоняться ей на бархат иногда
Больше, больше никогда!

И казалось, клубы дыма льет курильница незримо,
Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда,
«Бедный! — я вскричал, — то богом послан отдых всем
тревогам,

Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенья, — да?
Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор, — о, да?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или демон?
Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда?
Я не пал, хоть полн уныний! В этой залятой пустыне,
Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда
В Галааде мир найду я? обрету бальзам когда?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или демон?
Ради неба, что над нами, часа Страшного суда,
Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальней,
Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда?
Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Это слово — знак разлуки! — крикнул я, ломая руки. —
Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода!
Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов

позорных

Не хочу друзей тлетворных! С бюста — прочь, и навсегда!
Прочь — из сердца клюв, и с двери — прочь, виденье,
навсегда!»

Ворон: «Больше никогда!»

И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все
сидит он.

Там, над входом, Ворон черный, с белым бюстом слит
всегда!

Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный.
Тень ложится удлинено, на полу лежит года, —
И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, —
Знаю, — больше никогда!

ЗВОН

1

Внемлешь санок тонким звонам,
Звонам серебра?
Что за мир веселий предвещает их игра!
Внемлем звонам, звонам, звонам
В льдистом воздухе ночном,
Под звездистым небосклоном,
В свете тысяч искр, зажженном
Кристаллическим огнем, —
С ритмом верным, верным, верным,
Словно строфы саг размерным,
С перезвякиваньем мягким, с сонным отзывом времен,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон,
Бубенцов скользящих санок многозвучный перезвон!

2

Свадебному внемлешь звону,
Золотому звону?
Что за мир восторгов он вещает небосклону!
В воздухе душистом ночи
Он о радостях пророчит;
Нити золота литого
За волной волну
Льет он в лоно сна ночного,
Так чтоб горлинки спросонок, умиленные, немели,
Глядя на луну!
Как из этих фейных келий
Брызжет в звонкой эвфонии перепевно песнь веселий!
Упоен, унесен
В даль времен
Этой песней мир под звон!

Про восторг вещает он,
Тех касаний,
Колыханий,
Что рождает звон,
Звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон,
Ритм гармоний в перезвоне, — звон, звон, звон!

3

Слышишь злой набата звон,
Медный звон?
Что за сказку нам про ужас повествует он!
Прямо в слух дрожащей ночи
Что за трепет он пророчит?
Слишком в страхе, чтоб сказать,
Может лишь кричать, кричать.
В безразмерном звоне том
Все отчаянье зыванья пред безжалостным огнем,
Все безумье состязанья с яростным, глухим огнем,
Что стремится выше, выше,
Безнадежной жаждой дышит,
Слился в помысле одном
Никогда иль ныне, ныне,
Вознестись к луне прозрачной, долететь до тверди синей!
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Что за повесть воеет он
Об отчаяньи немом!
Как он воеет, вопит, стонет,
Как надежды все хоронит
В темном воздухе ночном!
Ухо знает, узнает
В этом звоне,
В этом стоне:
То огонь встает, то ждет;
Ухо слышит и следит

В этом стоне,
Перезвоне:
То огонь грозит, то спит.
Возрастаем, замираньем все вешает гневный звон,
Медный звон,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон.
Полный воем, полный стоном, исступленьем полный звон.

Похоронный слышишь звон,
Звон железный?
Что за мир торжеств унылых заключает он!
Как в молчаньи ночи
Дрожью нас обнять он хочет,
Голоса глухой угрозой под раскрытой звездной бездной!
Каждый выброшенный звук,
Словно хриплый возглас мук,
Это — стон,
И невольню, ах! невольню,
Кто под башней колокольной
Одинок тянут дни,
Звон бросая похоронный,
В монотонность погруженный,
Горды тем, что богомольно
Камень на сердце другому навалили и они.
Там не люди и не звери,
Нет мужчин и женщин, где стоит звонарь:
Это — демоны поверий,
Звон ведет — их царь.
Он заводит звон,
Вопит, вопит, вопит он
Гимн — пзан колоколов,
Сам восторгом упоен
Под пзан колоколов.

Вопит он, скакать готов,
В ритме верном, верном, верном,
Словно строфы саг размерном,
Под пэан колоколов
И под звон;
Вопит, пляшет, в ритме верном,
Словно строфы саг размерном,
В лад сердцам колоколов,
Под их стоны, под их звон,
Звон, звон, звон;
Вопит, пляшет, в ритме верном,
Звон бросая похорон
Старых саг стихом размерным;
Колокол бросая в звон,
В звон, звон, звон,
Под рыдания, стоны, звон,
Звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон,
Под стнящий, под гудящий похоронный звон.

ЮЛАЛЮМ

Скорбь и пепел был цвет небосвода,
Листья сухи и в форме секир,
Листья скрючены в форме секир
Моего незабвенного года.
Был октябрь, и был сумрачен мир.
То был край, где спят Обера воды,
То был дымно-туманный Уир, —
Лес, где озера Обера воды,
Ведьм любимая область — Уир.
Кипарисов аллеей, как странник,
Там я шел с Психеей вдвоем,
Я с душою своей шел вдвоем,

Мрачной думы измученный странник.
Реки мыслей катились огнем,
Словно лава катилась огнем,
Словно серные реки, что Яник
Льет у полюса в сне ледяном,
Что на северном полюсе Яник
Со стоном льет подо льдом.

Разговор наш был — скорбь без исхода,
Каждый помысл — как взмахи секир,
Память срезана взмахом секир:
Мы не помнили месяца, года
(Ах, меж годами страшного года!),
Мы забыли, что в сумраке мир,
Что поблизости Обера воды
(Хоть когда-то входили в Уир!),
Что здесь озера Обера воды,
Лес и область колдуний — Уир!

Дали делались бледны и серы,
И заря была явно близка,
По кадрану созвездий — близка,
Пар прозрачный вставал, полня сферы,
Озаряя тропу и луга;
Вне его полумесяц Ашеры
Странно поднял двойные рога,
Полумесяц алмазной Ашеры
Четко поднял двойные рога.

Я сказал: «Он нежнее Дианы.
Он на скорбных эфирных путях,
Веселится на скорбных путях.
Он увидел в сердцах наших раны,
Наши слезы на бледных щеках;
Он зовет нас в блаженные страны,
Сквозь созвездие Льва в небесах —

К миру Леты влечет в небесах.
Он восходит в блаженные страны
И нас манит, с любовью в очах,
Мимо логова Льва, сквозь туманы,
Манит к свету с любовью в очах».

Но, поднявши палец, Психея
Прошептала: «Он странен вдали!
Я не верю звезде, что вдали!
О, спешим! о, бежим! о, скорее!
О, бежим, чтоб бежать мы могли!»
Говорила, дрожа и бледнея,
Уронив свои крылья в пыли,
В агонии рыдала, бледнея
И влача свои крылья в пыли,
Безнадежно влача их в пыли.

Я сказал: «Это — только мечтанье!
Дай идти нам в дрожащем огне,
Искупаться в кристальном огне.
Там, в сибиллином этом сияньи,
Красота и надежда на дне!
Посмотри! Свет плывет в вышине!
О, уверуем в это мерцанье
И ему отдадимся вполне!
Да, уверуем в это мерцанье
И за ним возлетим к вышине,
Через ночь — к золотой вышине!»

И Психею, шепча, целовал я,
Успокаивал дрожь ее дум,
Побеждал недоверие дум,
И свой путь с ней вдвоем продолжал я.
Но внезапно, высок и угрюм,
Саркофаг, и высок и угрюм,

С эпитафией дверь — увидел я.
И невольно, смущен и угрюм,
«Что за надпись над дверью?» сказал я.
Мне в ответ: «Юлалюм! Юлалюм!
То — могила твоей Юлалюм!»

Стало сердце — скорбь без исхода,
Каждый промысл — как взмахи секир,
Память — грозные взмахи секир.
Я вскричал: «Помню прошлого года
Эту ночь, этот месяц, весь мир!
Помню: я же, с тоской без исхода,
Ношу страшную внес в этот мир
(Ночь ночей того страшного года!).
Что за демон привел нас в Уир!
Так! то — мрачного Обера воды,
То — всегда туманный Уир!
Топь и озера Обера воды,
Лес и область колдуний — Уир!

ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Смотри! огни во мраке блещут
(О, ночь последних лет!).
В театре ангелы трепещут,
Глядя из тьмы на свет,
Следя в слезах за пантомимой
Надежд и вечных бед.
Как стон, звучит оркестр незримый:
То — музыка планет.

Актеров сонм — подобье бога —
Бормочет, говорит,
Туда, сюда летит с тревогой, —
Мир кукольный спешит.

Безликий некто правит ими,
Меняет сцены вид,
И с кондоровых крыл, незримый,
Проклятие струит.

Нелепый фарс! — но невозможно
Не помнить мимов тех,
Что гонятся за Тенью, с ложной
Надеждой на успех,
Что, обегая круг напрасный,
Идут назад, под смех!
В нем ужас царствует, в нем властны
Безумие и Грех.

Но что за образ, весь кровавый,
Меж мимами ползет?
За сцену тянутся суставы,
Он движется вперед,
Все дальше, — дальше, — пожирая
Играющих, и вот
Театр рыдает, созерцая
В крови ужасный рот.

Но гаснет, гаснет свет упорный!
Над трепетной толпой
Вниз занавес спадает черный,
Как буря, роковой.
И ангелы, бледны и прямы,
Кричат, плащ скинув свой,
Что «Человек» — название драмы,
Что «Червь» — ее герой!

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
(1797—1856)

* * *

Проходят годы, нисходят
Во гроб поколенья людей,
И лишь любовь не проходит,
Любовь в груди моей.

Лишь раз бы еще увидеть мне,
Увидать царицу мою
И ей сказать, умирая:
«Madame, я вас люблю!»

АЗР

Каждый день, как сон прекрасна,
Дочь султана проходила
В час вечерний у фонтана,
Где вода, белеясь, била.

Каждый день невольник юный
В час вечерний у фонтана,
Где вода, белеясь, била,
Ждал, день ото дня бледнее.

Раз один ему царевна
Быстро вымолвила, глянув:
«Знать хочу твое я имя,
Место родины и род твой».

И невольник молвил: «Имя —
Магомет: отчизна — Йемен;
Род мой — Азры, для которых
Неразлучна смерть с любовью».

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера шли,
Что русский плен испытали,
И вот, достигнув немецкой земли,
Поникли они от печали.

Узнали они о несчастных вещах,
Что Франции блеск весь утрачен,
Великая армия пала во прах,
И сам император — захвачен!

И, выслушав горький рассказ, в тишине
Заплакали два ветерана.
Один говорит: «О как тяжело мне,
Болит моя старая рана!»

Другой отвечал: «Желал бы и я
Близ тебя мертвецом застынуть,
Но дома с ребенком жена моя,
Без меня обоим им сгинуть!»

Но первый: «Ах, что мне дитя и жена!
Иной я заботой охвачен.
Пусть руку протянет, когда голодна, —
Император, император захвачен!

Брат! исполни просьбу одну!
Если б здесь свои дни скончал я,
Возьми мое тело в родную страну,
Чтоб в земле родимой лежал я.

На груди моей ты орден наш
На красной ленте ты сменишь,
Мое ружье ты мне в руку дашь,
И саблю мою мне наденешь.

И я буду слушать, лежа в гробу,
Как на страже солдат в ожиданьи,
Пока не заслышу пушек пальбу
И ярое конное ржанье.

Император проскачет над гробом моим,
Мечи зазвенят, сверкая,
И в оружии выйду из фоба, чтоб с ним
Сражаться, его защищая!

НИКОЛАЙ ЛЕНАУ
(1802—1850)

КАМЫШОВЫЕ ПЕСНИ

1

Тихо запад гасит розы,
Ночь приходит чередой;
Сонно ивы и березы
Нависают над водой.

Лейтесь вольно, лейтесь, слезы!
Этот миг — прощанья миг.
Плачут ивы и березы,
Ветром зыблется тростник.

Но манят грядущим грезы,
Так далекий луч звезды,
Пронизав листву березы,
Ясно блещет из воды.

2

Ветер злобно тучи гонит,
Плещет дождь среди воды.
«Где же, где же, — ветер стонет, —
Отражение звезды?»

Пруд померкший не ответит,
Глухо шепчут камыши,
И твоя любовь мне светит
В глубине моей души.

3

Вот тропинкой потаенной
К тростниковым берегам
Пробираюсь я, смущенный,
Вновь отдавшийся мечтам.

В час, когда тростник трепещет,
И сливает тени даль,
Кто-то плачет, что-то плещет
Про печаль, мою печаль.

Словно лилий шепот слышен,
Словно ты слова твердишь...
Вечер гаснет, тих и пышен,
Шепчет, шепчется камыш.

4

Солнечный закат;
Душен и пуглив
Ветерка порыв;
Облака летят.

Молнии блеснут
Сквозь разрывы туч;
Тот мгновенный луч
Отражает пруд.

В этот беглый миг
Мнится: в вихре гроз
Вижу прядь волос,
Вижу милый лик.

5

В ясном небе без движенья
Месяц бодрствует в тиши,
И во влаге отраженье
Обступили камыши.

По холмам бредут олени,
Смотрят пристально во мрак,
Вызывая мир видений,
Дико птицы прокричат.

Сердцу сладостно молчанье,
И растут безмолвно в нем
О тебе воспоминанья,
Как молитва перед сном.

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ
(1809—1849)

ГРУСТНО МНЕ, БОЖЕ

Грустно мне, боже! Являя заходы,
Ты для меня теплишь радуг сиянья;
Гасишь, склоняя в лазурные воды,
Звезд трепетанья;
Ты золотишь твердь и небо... и что же?
Грустно мне, боже!

Колос пустой, я вздымаюсь высоко,
Роскоши чужд и довольства не зная.
Пусть для чужих мое строгое око —
Тишь голубая;
Но пред тобой вскрою я сердце все же —
Грустно мне, боже!

Словно ребенок, возраставший от ласки
Матери нежной, — кляню я, печальный,
Солнце, что мечет в закатные краски
Луч свой прощальный.
Хоть оно завтра восстанет все то же —
Грустно мне, боже!

Нынче, на море великом затерян,
Сто миль от берега и столько ж до берега,

Видел я аистов. Путь их был верен,
Путь до ночлега.
В польской земле мне встречать их дороже!
Грустно мне, боже!

Ах! что я часто мечтал на могилах,
Что я не видел родимого дома,
Что уставал я в скитаньях унылых
С грохотом грома,
Что на чужбине умру, как прохожий, —
Грустно мне, боже!

Нет, я не лягу, немой и безгласный,
Спать под плитою с надгробьем умильным:
Тот я, кто должен завидовать страстно
Прахам могильным!
Впрочем... Что скажет мне смертное ложе?
Грустно мне, боже!

ЮХАНО ЭРККО

(1849—1906)

ПЕСНЯ ВУОКСЫ

Саймы волны,
Гневом полны,
Воют в Вуоксе, упорные,
Громоздят громады гор,
И бессилен их напор
Раздробить утесы черные.
Вот, пьяна и вспенена,
Через камни бьет волна.

Саймы волны,
Гневом полны,
Воют в Вуоксе, упорные.
Что мгновенье, —
Злей течение,
Волны вопят, необорные.
Преграждая бурный ток,
Подставляет камень бок,
Но, стремясь в поля просторные,
Налетают зыби вод,
Рвутся дальше, все вперед...

Саймы волны,
Гневом полны,
Воют в Вуоксе, упорные.

Ток ударом,
В гневе яром,
Рушит в бездну камни спорные.
Чу! — звучит со всех сторон
Скал упрямых скорбный стон,
И покрывший выси горные
Лес взирает, страха полн,
На победу пенных волн.

Саймы волны,
Гневом полны,
Воют в Вуоксе, упорные.
Край мой бедный!
То — победный
Гимн поют валы упорные!
Саймы сонная волна
Буйством в Вуоксе полна,
Бьет о скалы непокорные!
Встань, подобен вихрю вод,
Спящий, скованный народ!
Видишь: волны,
Гневом полны,
К воле вырвались, упорные!

СТЕФАН ГЕОРГЕ

(1868—1933)

* * *

За все тебе я, Солнце, благодарен,
Лишь первый шаг ступлю, покинув дом!
Меня вокруг целуешь ты теплом,
За бодрым утром полдень лучезарен.

Дам волоса порывам ветерка.
Дыханье сада все вскрывает поры.
В ветвях пурпурных нежится рука,
Свежо щекам под лаской белой Флоры.

Склон дня, что жжет, минует и грозит,
Героями и магиками полный!
И к играм все кругом меня манит,
И в челноке со мной играют волны.

И праздник вечера, в живом огне,
Когда палим блаженством я мечтаний,
Ряд милых образов скользит в тумане,
Пока все радости не тонут в сладком сне.

ДЕТЛЕВ ФОН ЛИЛИЕНКРОН
(1844—1909)

МУЗЫКА ИДЕТ

Клинг-клинг, бум-бум и чинг-трах-трах,
Не сам ли то персидский шах?
Не трубы ль Страшного суда
Зовут, гремят и к нам сюда
Выходят с поворота?

Бум-бум, клинг-клинг, поют рожки,
Трубит труба, звенят звонки,
Идет литавщик, бомбардист,
И барабанщик, и флейтист,
За ними сам полковник.

Полковник важен и велик,
Сверкает шитый воротник,
Сверкает золотом мундир...
Ах! что роскошней видел мир?
За ним два лейтенанта.

Два лейтенанта — на подбор!
Усы — стрела, орлиный взор!
Над ними ветер знамя вьет,
Снимает шляпы весь народ.
А вот и гренадеры.

За шагом шаг, за рядом ряд
(Как стекла жалобно звенят!)
Идут в порядке боевом...
И стук, и шум, и звон, и гром...
 А вот кругом девчонки.

Там у окна, здесь из ворот,
Они глядят, раскрывши рот,
Блестят глазенки, бант в косе,
Вот Мина, Зина, Дина — все!
 Но музыка проходит.

За шагом — шаг, раз-два, раз-два,
Уже шаги слышны едва
И голос труб уже далек.
Промчался пестрый мотылек,
 Исчез за поворотом.

РИХАРД ДЕМЕЛЬ
(1863—1920)

* * *

Тихо. Дня прошли минуты;
И глаза твои сомкнуты, —
Ты дрожишь во сне.
Над твоей постелью чистой
Блещет взор луны лучистой,
Шепчет в тишине.

Тихо. С солнцем гаснут звуки.
Дай нам руки! дай нам руки!
Небо глубоко.
Пусть твои сомкнуты очи,
Ты доверься царству ночи,
Здесь легко! легко!

* * *

У нас есть ребенок, у нас есть постель,
Жена моя,
У нас есть работа, обут я, одет,
Осталось нам солнце, ветер, метель,
И только малого, малого нет,
Чтоб жилось нам легко, как птицам в апрель, —
Времени нет.

Когда в воскресенье идем мы гулять,
Дочка моя,
И там, в небесах, где солнечный свет,
Уносятся ласточки ввысь щебетать,
У нас только малого, малого нет,
Чтоб в солнце вселенной, как птичкам, блистать, —
Времени нет.

Нет времени. Слышим, как дышит она,
Гроза бытия.
Но над рабочим — издавний запрет!
У нас нет, у нас нет, дочка! жена!
Того, что мы сами творим, у нас нет —
Чтоб, как птичек, и нас заласкала весна, —
Ах, времени нет.

МОРИС РЕЙНГОЛЬД ФОН ШТЕРН
(1860—1938)

* * *

Германия! Та цель далеко ль —
Гнет тирании сокрушить,
Под зданье новых дней, как цоколь,
Народа благо положить?
С орлом на касках легионы
Способны ль осчастливить край?
Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

Скинь смело рабское обличье,
Сотри с чела клеймо стыда!
Познай свободное величье
Народной воли и труда.
Иль жертв тебе любезны стоны,
Иль тюрьмы любишь ты, как рай?
Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

Всегда ль маршировать должна ты
Под окрик: «левой — правой — бей!»
Не будет ли играть в солдаты
На радость всех твоих князей?
Для них — все праздничные звоны,
Тебе — страданья через край...

Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

Прочь, этих пушек дым багряный,
Прочь, знамени ненужный клочок,
Прочь, горы, трубы, барабаны!
Из мирных мирт надень венки!
Как мира ждут поля и склоны
Холмов, зима и нежный май!
Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

Иль ты военной славе рада?
Честь армии тебе свята?
Но что, но что за все награда?
Налоги, голод, нищета!
Отвергни крик: «за власть! за троны!»
Цель высшую вдали познай!
Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

Чу! полон мир священным зовом...
Долой империи мираж!
Народ, восстань в веселье новом,
День наступающий — он наш!
Рабов поднялись миллионы.
Германия, не опоздай!
Германия, разбей короны,
Свою республику создай!

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. С. ПУШКИН
(1799—1837)

MON PORTRAIT

Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d'après nature;
Mon cher, il sera bientôt fait,
Quoique en miniature.

Je suis un jeune polisson,
Encore dans les classes;
Point sot, je le dis sans façon
Et sans fades grimaces.

Oui! il ne fut de babillard,
Ni docteur en Sorbonne,
Plus ennuyeux et plus braillard,
Que moi-même en personne.

Ma taille à celles des plus longs
Ne peut être égalée;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tête bouclée.

J'aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude;
J'abhorre et noises, et débats,
Et tant soit peu l'étude.

МОЙ ПОРТРЕТ

Ты просишь у меня портрет,
Притом написанный с натуры:
Готов он будет, слова нет,
Но в виде лишь миниатюры.

Вот я, повеса молодой,
Еще не кончивший ученья;
Не глуп, скажу я с простотой
И без притворного смиренья.

Я надоедлив, может быть,
Болтун, почти неугомонный;
Речистостью могу затмить
Любого доктора Сорбонны!

Я не скажу, чтоб чересчур
Высок был ростом меж друзьями,
Но свеж лицом и белокур,
А кудри выются завитками.

Быть одиноким не терплю,
Мне света шум всего дороже,
Но ссор и сплетен не люблю, —
Уроков, правду молвить, — тоже.

Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d'après ma pensée,
Je dirais ce que j'aime encore...
Si n'étais au Lycée.

Après cela, mon cher ami,
L'on peut me reconnaître:
Oui, tel que le bon Dieu me fit
Je veux toujours paraître.

Vrai démon pour l'espièglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'étourderie,
Ma foi, voilà Pouchkine.

STANCES

Avez-vous vu la tendre rose,
L'aimable fille d'un beau jour,
Quand au printemps à peine éclore,
Elle est l'image de l'amour?

Telle à nos yeux, plus belle encore,
Parut Eudoxie aujourd'hui;
Plus d'un printemps la vit éclore,
Charmante et jeune comme lui.

Mais, hélas! Les vents, les tempêtes,
Ces fougueux enfants de l'hiver,
Bientôt vont gronder sur nos têtes,
Enchaîner l'eau, la terre et l'air.

Et plus de fleurs, et plus de rose!
L'aimable fille des amours
Tombe fanée, à peine éclore;
Il a fui, le temps des beaux jours!

Спектакли, балы — страсть моя!
Про то, что мне еще милее,
Сказал бы откровенно я,
Когда бы не был я в Лицее.

По этим признакам ты мог,
Каков я, быстро догадаться.
Меня таким и создал бог,
Таким я и хочу казаться.

В проказах — настоящий бес,
Лицом похож на обезьяну,
Во всем — повеса из повес,
Вот — Пушкин, отрицать не стану!

СТАНСЫ

Вы розу нежную узрели,
Дитя золотого дня, весной?
Полураскрытая, в апреле,
Она — любви символ живой!

Евдоксия такой предстала,
Или еще прекрасней, мне.
Она не раз весну встречала,
Красой подобная весне.

Но, горе! скоро ветры, бури,
Питомцы Севера, падут
На наши головы с лазури,
Сушь, воду, воздух окуют.

Не станет боле роз прекрасных,
Любви пленительных детей,
Увядших в пору дней ненастных!
Минуло время ясных дней.

Eudoxie! aimez, le temps presse;
Profitez de vos jour heureux!
Est-ce dans la froide vieillesse
Que de l'amour on sent les feux?

COUPLETS

Quand un poète en son extase
Vous lit son ode ou son bouquet,
Quand un conteur traîne sa phrase,
Quand on écoute perroquet,
Ne trouvant pas le mot pour rire,
On dort, on baille en son mouchoir,
On attend le moment de dire:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Mais tête-à-tête avec sa belle,
Ou bien avec de gens d'esprit,
Le vrai bonheur se renouvelle,
On est content, l'on chante, on rit.
Prolongez vos paisibles veilles,
Et chantez vers la fin du soir
A vos amis, à vos bouteilles:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Amis, la vie est un passage
Et tout s'écoule avec le temps,
L'amour aussi n'est qu'un volage,
Un oiseau de notre printemps;
Trop tôt il fuit, riant sous cape —
C'est pour toujours, adieu l'Espoir!
On ne dit pas dès qu'il s'échappe:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Евдоксия! люби свободно!
Используй радостные дни!
Во время ль старости холодной
Любви мы ведаем огни?

КУПЛЕТЫ

Когда поэт, горя экстазом,
Читает оду иль сонет,
Рассказчик лепит фразу к фразам
Или мучит вас болтун-сосед, —
Терпя жестокие страдания,
Мы спим, зеваем мы в платок
И ждем, когда ж настанет срок
Сказать: до милого свиданья.

Но на пиру, где ум сверкает,
Или с возлюбленной вдвоем
В нас радость быстро оживает,
Мы веселы, смеясь, поем;
Продлим же наши ликованья,
Чтоб довелось попозже нам
Бутылкам тесным и друзьям
Сказать: до милого свиданья.

Вся жизнь проходит мимолетно;
Все годы мчат своей волной;
Мелькает птичкой перелетной
Любовь лишь нашею весной;
С собой уносит упованья,
Прочь исчезая навсегда,
И невозможно нам тогда
Сказать: до милого свиданья.

Le temps s'enfuit triste et barbare
Et tôt ou tard on va là-haut,
Souvent — le cas n'est pas si rare —
Hasard nous sauve du tombeau.
Des maux s'éloignent les cohortes
Et le squelette horrible et noir
S'en va frappant à d'autres portes:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Mais quoi? je sens que je me lasse
En lassant mes chers auditeurs.
Allons, je descends du Parnasse —
Il n'est pas fait pour les chanteurs,
Pour des couplets mon feu s'allume
Sur un refrain j'ai du pouvoir,
C'est bien assez — adieu, ma plume!
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

EPIGRAMME

A son amant Eglé sans résistance
Avait cédé — mais lui pâle et perclus
Se déménait — enfin n'en pouvant plus
Tout essouffé tira... sa révérence, —
„Monsieur, — Eglé d'un ton plein d'arrogance,
Parlez, Monsieur: pourquoi donc mon aspect
Vous glace-t-il? m'en direz vous la cause?
Est-ce dégoût" — Mon dieu, c'est autre chose. —
„Excès d'amour?" — Non, excès de respect.

Всех, рано ль, поздно ль, в мрак унылый
Навек уводит смертный час;
Но — так бывает — от могилы
Порой спасает случай нас.
Уходит мрачных зол собранье,
И остов черный к тем, кто жив,
Стучится в двери, не забыв
Сказать: до милого свиданья.

Но что? и сам я утомляюсь,
Томя других чредой стихов,
И вот с Парнаса я спускаюсь:
Ведь он не создан для певцов.
К куплетам у меня призванье,
Припева я люблю игру,
Чего ж еще? — пора перу
Сказать: до милого свиданья.

ЭПИГРАММА

На просьбы страстные любовника Аглая
Сдалася наконец, — но, бледен и смущен,
Заволновался тот, как поступить, не зная,
И показать спешит... почтительный поклон.
«Но, сударь, это что ж? Ужели приближенье
Ко мне вас леденит? Но дайте же ответ:
То отвращенье ли?» — «Ах, боже мой! о нет!..» —
«Любовь чрезмерная?» — «Чрезмерное почтенье!»

Ф. И. ТЮТЧЕВ

(1803—1873)

* * *

Un ciel lourd que la nuit bien avant l'heure assiège,
Un fleuve, bloc de glace et que l'Hiver ternit —
Et des filets de poussière de neige
Tourbillonnent sur des quais de granit...

La mer se ferme enfin... Le monde recule,
Le monde des vivants, orageux, tourmenté...
Et, bercée aux lueurs d'un vague crépuscule,
Le pôle attire à lui sa fidèle cité...

* * *

Vous, dont on voit briller, dans les nuits azurées,
L'éclat immaculé, le divin élément,
Étoiles, gloire à vous! Splendeurs toujours sacrées!
Gloire à vous qui durez incorruptiblement!

L'homme, race éphémère et qui vit sous la nue,
Qu'un seul et même instant voit naître et défleurir,
Passe, les yeux au ciel. — Il passe et vous salue!
C'est l'immortel salut de ceux qui vont mourir.

* * *

Безвременная ночь восходит безнадежно
На небо низкое; река, померкнув, спит,
Как гряда мертвых льдов, и нити пыли снежной
Кружатся и звездят береговой гранит.

Нет выхода! весь мир исчез в тумане этом,
Тот мир, где место есть живым, грозе, борьбе!
И, убаюканный тем смутным полусветом,
О полюс! — город твой влечется вновь к тебе!

* * *

Огни блестящие во глуби светло-синей,
О непорочный блеск небесного венца!
О звезды! Слава вам! Божественной святыней
Заглись вы над землей, — и длитесь без конца.

А люди, жалкий род, несчастный и мгновенный,
Которому дано единый миг дышать,
В лазурь глаза вперив, поет вам гимн священный,
Торжественный привет идущих умирать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Валерий Брюсов сам издал и переиздал несколько книг своих переводов, сам отвел для переводов 5 томов в своем Собрании сочинений, которое начало выходить в 1912 г. и осталось незавершенным, сам планировал еще некоторые сборники переводов, тоже не осуществленные. В соответствии с планами его изданий построена и эта книга его избранных переводов из зарубежных поэтов.

Переводы, вошедшие в первый раздел сборника, печатаются по изданию: Поль Верлэн. Собрание стихов. В пер. Валерия Брюсова, с критико-биографическим очерком, библиографией... М., «Скорпион», 1911. Варианты двух стихотворений и перевод третьего («Печаль, печаль в душе моей...») взяты из примечаний Брюсова к основному тексту этой книги.

Переводы, вошедшие во второй раздел, печатаются по изданию: Эмиль Верхарн. Поэмы. Пер. Валерия Брюсова. Изд. 4, переработанное и дополненное. П.—М., Госиздат, 1923 («Всемирная литература»). Предыдущие издания выходили в 1906 («Стихи о современности»), 1915 и 1917 («Собрание стихов») годах. Замыкающее раздел стихотворение «К русским столицам» в сборник 1923 г. не вошло и печатается впервые по автографу 1916 г.

Третий раздел, «Французские лирики XIX века», соответствует антологии под таким заглавием (с подзаголовком «Переводы и характеристики»), изданной Брюсовым впервые в 1909 г. (изд. «Пантеон») и вторично, в расширенном виде, в 1913 г. (как 21-й том

«Полного собрания сочинений и переводов» В. Брюсова, изд. «Сирин»). Тексты печатаются по изд. 1913 г. Добавлено одно стихотворение Гюго («Наш век двухлетним был...»), переведенное позднее и опубликованное посмертно. Нужно заметить, что под заглавием «Французские лирики» Брюсов обычно объединял не только поэтов Франции, но и поэтов Бельгии, писавших на французском языке, — Роденбаха, Метерлинка, Верхарна.

Четвертый раздел озаглавлен «Римские цветы»: под таким заглавием Брюсов собирался издать в начале 1910-х годов сборник переводов из поздних римских поэтов. Два раздела из этого сборника («Пентадий. Страница из истории римской поэзии» и «Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония») были напечатаны Брюсовым в журнале «Русская мысль», 1910, № 1, и 1911, № 3; отдельные переводы печатались в журнале «Гермес», в сборниках Брюсова «Опыты» (1918) и «Erotopaegnia» (1917); посмертно был издан незаконченный брюсовский перевод «Энеиды». Ряд переводов печатается здесь впервые; ода Горация «К Лидии» публикуется в неизданной окончательной редакции. В раздел включены также переводы отрывков из не дошедших до нас полностью произведений старинной римской поэзии, сделанные Брюсовым для антологии, которую он готовил в 1917 г.

Пятый раздел, «Поэты разных стран и народов», приблизительно соответствует предполагавшемуся последнему, 25-му тому «Полного собрания сочинений и переводов» Брюсова: «Разные переводы в стихах». Собранные здесь переводы печатались в «Опытах» (Сапфо, Вийон, Басё — впрочем, без упоминания имени этого классика японской поэзии), в собраниях сочинений Шекспира и Байрона под ред. С. А. Венгерова, во «Французских лириках XIX в.» (Арно, Мильвуа), в редактированном Брюсовым сборнике «Французские лирики XVIII в.» (Вольтер), в различных газетах и журналах (Шелли, Мур, Лилиенкрон и др.); переводы из Эдгара По были изданы отдельной книгой (Эдгар По. Полное собрание поэм и стихотворений. Перевод и предисловие Валерия Брюсова с критико-библиографическими комментариями. П.—М., Госиздат, 1924). Некоторые переводы были напечатаны посмертно; ряд переводов публикуется впервые.

В Приложении помещены сделанные Брюсовым переводы на русский язык французских стихотворений А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева. Текст дается по примечаниям к изданиям: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений со сводом вариантов и объяснительными примечаниями. Ред. Валерия Брюсова. Т. I, ч. 1. М., 1919; Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. С критико-библиографическим очерком В. Я. Брюсова... ред. издания П. В. Быков. Спб., изд. А. Ф. Маркс (1912).

Все тексты, публикуемые в настоящем издании впервые, отмечены в содержании звездочкой.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Гаспаров.

Путь к перепутью (Брюсов-переводчик) 5

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

С французского

Из книги «Сатурнические поэмы»

Резиньяция	19
Парижское кроки	19
Марина	20
Впечатление ночи	20
Осенняя песня	21
Осенняя песня [Вариант]	22
Благословенный час	22
Женщина и кошка	23

Из книги «Изысканные празднества»

Сияние луны	24
-----------------------	----

Из книги «Милая песенка»

«Ах! пока, звезда денницы...»	25
«И месяц белый...»	26
«Гул полных кабаков; грязь улицы; каштана...»	26

Из книги «Романсы без слов»

«Целует клавиши прелестная рука...»	27
«Печаль, печаль в душе моей...»	27
«Тянется безмерно...»	28
«Деревьев тень в воде, под сумраком седым...»	29
Шарлеруа	30
Green (Зелень)	31

Из книги «Мудрость»

«Мне встретился рыцарь Несчастье, что скачет и ночью, и днем...»	32
«Враг принимает облик Скуки...»	33
«Надежда чуть блестит, как под окном солома...»	33
«Огромный, черный сон...»	34
«Небосвод над этой крышей...»	34
«Небо над этою крышей...» [Вариант]	35
«Охотничий рожок рыдает у леска...»	36

Из книги «Когда-то и недавно»

Хромой сонет	37
Искусство поэзии	37
Истома	39

Из поздних книг

Сапфо	40
Пьерро	40
«Дни осени настали...»	42
Пролог (К сборнику «Плоть»)	42

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН

С французского

Из книги «Фламандки»

Фламандское искусство	47
---------------------------------	----

Из книги «Монахи»

Монах-ересиарх	50
--------------------------	----

Из книги «Вечера»

Человечество	53
Лондон	53

Из книги «Разгромы»

Голова	55
------------------	----

Из книги «Черные факелы»

Мятеж	56
Женщина на перекрестке	57
Вечер	60
Смерть	61
Числа	63

Из книги «Края дороги»

К чему-то	66
---------------------	----

Из книги «Призрачные деревни»	
Ветер	68
Дождь	70
Кузнец	72
Из книги «Обезумевшие селения»	
Мор	77
Из книги «Города со щупальцами»	
Восстание	83
Из книги «Мятежные силы»	
Трибун	88
Банкир	90
В вечерний час	92
Из книги «Властительные ритмы»	
Золото	94
Из поздних книг	
* К русским столицам	98

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛИРИКИ XIX ВЕКА

Виктор Гюго	
«Наш век двухлетним был; сменялась	
Римом Спарта...»	101
Писано в изгнании	103
Возвращение императора	104
Вечер	105
Наступление ночи	106
Соломон	106
Марселина Деборд-Вальмор	
Письмо женщины	108

Альфонс Ламартин	
Запад	110
Альфред де Виньи	
Природа	112
Огюст Барбье	
Кумир	113
Теофиль Готье	
Первая улыбка весны	115
Искусство	116
Леконт де Лиль	
Слоны	119
Шарль Бодлер	
Красота	121
Непокорный	121
Вечерние сумерки	122
Леон Дьеркс	
Лазарь	124
Хосе Мариа де Эредиа	
Треббия	126
Стефан Малларме	
Из поэмы «Иродиада»	127
Артюр Рембо	
Ищущие в волосах	128
Жюль Лафорг	
Жалоба провинциальной луне	129
Другая жалоба луне	130
Добрая, добрая осень	131
Лоран Тайад	
Убывающая луна	133

Жорж Роденбах	
Вечер	135
Жан Мореас	
Ноктюрн	136
Иван Жилькэн	
Галлюцинация	138
Шарль ван Лерберг	
Из песен Евы	139
Морис Метерлинк	
Уныние	141
Намерения	141
«Милый с ней прощался...»	142
«А если он возвратится...»	142
«Пришли и сказали...»	143
«Я тридцать лет искала, сестры...»	144
Песня Мэлизанды (Из драмы «Пеллеас и Мэлизанда»)	144
Рене Гиль	
Жалоба пастушке	146
Колыбельная	148
Франсис Вьеле-Гриффен	
О неужели в мире нет...	149
На смерть Стефана Малларме (Похоронный плач)	150
Анри де Ренье	
На отмели	151
«Других пусть радуют прекрасные закаты...»	151

Эрнест Рейно	
Забывтые певцы	153
Фавн	153
Франсис Жам	
Альманах	155
Юг Лапэр	
Песенка	156
Приска де Ландель	
Состраданье	157
Поль Фор	
Баллада	159
Рене Аркос	
Земля	160
Жорж Дюамель	
Ковачи	162

РИМСКИЕ ЦВЕТЫ

С латинского

Публий Вергилий Марон	
Буря на море («Энеида», 1, ст. 50—156)	167
Квинт Гораций Флакк	
Памятник	171
* К Лидии	171
К Левконое	172
Лебедь	172
Гай Валерий Катулл	
* «Плачьте, Венеры все и все Эроты...»	174

Петроний Арбитр	
К деве	175
Публий Анний Флор	
Буквы на коре	176
Пентадий	
О приближении весны	177
Могила Ацида	178
Эпитафия Вергилию	178
«Ветрам вверяй ладью, души не вверяй только деве...»	178
Галлиен	
* «Радуйтесь, о молодые! равно соревнуйте всей силой...»	179
Децим Магн Авсоний	
Рим	180
Эхо — художнику	180
О имени некоего Люция, вырезанном на мраморе	180
Лаиса, посвящающая зеркало Венере	181
К Криспе	181
Рождение роз	181
Рок	183
Тибериан	
* «Между трав поток катился, дол прохладой наполнял...»	184
Сульпиций Луперк	
На брэнность	185
Луксорий	
«Нежный стихов аромат услаждает безделие девы...»	186

* «Ты благодарность прими, Пэан, наполняющий сердце...»	186
Безымянные поэты «Латинской антологии»	
* «Феб мне во сне воспретил Лиийским вином упиваться...»	187
* Бани, вино и любовь, вы наше губите тело...»	187
Волн колыхание так наяд побеждает стремленье...»	187
Из фрагментов старинной поэзии	
* Автоэпитафия Невия	188
* Автоэпитафия Энния	188
* Автоэпитафия Пакувия	188
* Из «Летописи» Энния	188
Из «Сатир» Луцилия	189
* Из «Элегий» Кальва	189
* Из «Эпиталямы» Кальва	189

ПОЭТЫ РАЗНЫХ СТРАН И НАРОДОВ

Сапфо	
Три отрывка (<i>С древнегреческого</i>)	193
Басё	
«О, дремотный пруд!..» (<i>С японского</i>)	194
Бертран де Борн	
* На смерть принца Генриха (<i>С провансальского</i>)	195
Франческо Петрарка	
«Благословен ты, вечер, месяц, год...» (<i>С итальян- ского</i>)	196

Лоренцо Медичи	
Триумф Вакха и Ариадны. Карнавальная песнь (С итальянского)	197
Франсуа Вийон	
О женщинах былых времен (С французского)	200
Торквато Тассо	
* К графине Скандиано (С итальянского)	202
* К Лукреции, герцогине Урбино (С итальянского)	202
Вильям Шекспир	
Сонет 55 (С английского)	204
* Сонет 57 (С английского)	204
* Сонет 60 (С английского)	205
Сонет 73 (С английского)	205
Вольтер	
Эпиграммы (С французского)	207
Максимилиан Робеспьер	
* Роза (С французского)	208
Андре Шенье	
«Заслушались тебя безмолвные наяды...» (С французского)	209
Антуан Арно	
Листок (С французского)	210
Шарль-Юбер Мильвуа	
Река забвения (С французского)	211
Фридрих Шиллер	
Ивиковы журавли (С немецкого)	212
Иоганн Вольфганг Гёте	
Ночная песнь странника (С немецкого)	218
«Что ж еще нам, мандаринам...» (С немецкого)	218

Джордж Гордон Байрон	
«Хочу я быть ребенком вольным...» (С англий- ского)	219
Лакин-и-Гэр (С английского)	221
Перси Биши Шелли	
Озимандия (С английского)	223
Томас Мур	
«Шепот, звезд далеких взгляд...» (С английского)	224
Эдгар По	
Ворон (С английского)	225
Звон (С английского)	229
Юлалюм (С английского)	232
Червь-победитель (С английского)	235
Генрих Гейне	
* «Проходят годы, нисходят...» (С немецкого)	237
Азр (С немецкого)	237
* Гренадеры (С немецкого)	238
Николай Ленау	
Камышовые песни (С немецкого)	240
* «Тихо запад гасит розы...»	240
«Ветер злобно тучи гонит...»	240
* «Вот тропинкой потаенной...»	241
* «Солнечный закат...»	241
«В ясном небе без движенья...»	242
Юлиуш Словацкий	
Грустно мне, боже! (С польского)	243
Юхано Эркко	
Песня Вуоксы (С финского)	245

Стефан Георге	
* «За все тебе я, Солнце, благодарен...»	
(С немецкого)	247
Детлев фон Лилиенкрон	
Музыка идет (С немецкого)	248
Рихард Демель	
«Тихо. Дня прошли минуты...»	
(С немецкого)	250
* «У нас есть ребенок, у нас есть постель...»	
(С немецкого)	250
Морис Рейнгольд фон Штерн	
* «Германия! Та цель далеко ль...»	
(С немецкого)	252

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. С. Пушкин	
Мой портрет (С французского)	255
Стансы (С французского)	257
Куплеты (С французского)	259
Эпиграмма (С французского)	261
Ф. И. Тютчев	
«Безвременная ночь восходит безнадежно...»	
(С французского)	263
«Огни блестящие во глуби светло-синей...»	
(С французского)	263
Библиографическая справка	264

В. БРЮСОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИВЕТ

Составитель Михаил Леонович Гаспаров

Редактор А. А. Смирнова
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор Р. В. Гудкова
Корректор Р. М. Прицкер

Сдано в набор 26.05.1976 г. Подписано в печать
4.01.1977 г. Формат 70x 100 1/32. Бумага оф-
сетная. Условн. печ. л. 11,29. Уч.-изд. л. 8,95
Тираж 10000 экз. Заказ № 495. Цена 1 руб. 24 коп.
Текст набран на фотонаборных машинах.
Изд. № 13867

Издательство «Прогресс» Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва 119021, Зубовский бульвар, 21.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97

оттачивая на них свое искусство. Он открыл русскому читателю Верлена и Верхарна, он переведил «Энеиду» Вергилия, «Фауста» Гете и полное собрание стихов Эдгара По, за свои переводы из армянской народной и классической поэзии он получил звание народного поэта Советской Армении. Не все в его переводах было равноценно: экспериментатор и первопроходец, он пытался дойти до пределов возможного в противоположных крайностях переводческого искусства — и в вольном, и в буквальном переводе. Общепризнанные достижения Брюсова-переводчика лежат на золотой середине между крайностями его исканий — это Верхарн, это Верлен, это «Французские лирики XIX века», это многие его переводы из поэтов разных стран и народов. Но и крайности его исканий тоже заслуживают внимания. Переводчики сегодняшнего дня могут найти неожиданно много близкого себе в практике ранних вольных брюсовских переводов. А переводчики завтрашнего дня не пройдут мимо поздней буквалистической программы Брюсова и таких высоких ее образцов, как переводы из армянской поэзии.